

ЧЖАН
ЮЭЖАНЬ

18+

К
О
К
О
Н

Чжан Юэжань

Кокон

«Фантом Пресс»

2016

УДК 821.581.11
ББК 84(5Кит)

Юэжань Ч.

Кокон / Ч. Юэжань — «Фантом Пресс», 2016

ISBN 978-5-86471-868-1

Чэн Гун и Ли Цзяци — одноклассники и лучшие друзья, но их детство едва ли можно назвать счастливым. Мать Чэн Гуна сбежала из семьи с продавцом лакричных конфет, а Ли Цзяци безуспешно пытается заслужить любовь отца, бросившего жену и дочь ради лучшей жизни. Кроме семейного неблагополучия Чэн Гуна и Ли Цзяци объединяет страстная любовь к расследованиям семейных тайн, но дети не подозревают, что очередная вытащенная на свет тайна очень скоро положит конец их дружбе и заставит резко повзрослеть. Расследуя жестокое преступление, совершенное в годы “культурной революции”, Ли Цзяци и Чэн Гун узнают, что в него были вовлечены их семьи, а саморазрушение, отравившее жизни родителей, растет из темного прошлого дедов. Хотя роман полон истинно азиатской жестокости, Чжан Юэжань оказывается по-христиански милосердна к своим героям, она оставляет им возможность переломить судьбу, искупить грехи старших поколений и преодолеть передававшуюся по наследству травму. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 821.581.11

ББК 84(5Кит)

ISBN 978-5-86471-868-1

© Юэжань Ч., 2016

© Фантом Пресс, 2016

Содержание

Часть I	6
Ли Цзяци	6
Чэн Гун	9
Ли Цзяци	12
15'37"	24
Чэн Гун	25
Часть II	31
Ли Цзяци	31
Чэн Гун	39
Ли Цзяци	49
Чэн Гун	61
Ли Цзяци	70
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Чжан Юэжань

Кокон

Бедное дитя! Лучшим подарком тебе будет капелька невзгод.
У. М. Теккерей «Кольцо и роза»¹

###

#

© ###, 2016

© Алина Перлова, перевод, 2020

© Андрей Бондаренко, оформление, 2021

© «Фантом Пресс», издание, 2021

Часть I

Ли Цзяци

После возвращения в Наньюань я две недели выходила только в ближайший супермаркет. Нет, еще в аптеку – купила таблетки от бессонницы. А так все время сидела подле умирающего – в этом громадном доме. Но утром он впал в забытие и не просыпался, как я ни звала. Небо затянуло тучами, давление в комнате упало. Я стояла у кровати и чувствовала, как тени смерти кружат под потолком, словно стая летучих мышей с черными крыльями. Наконец этот день настал. Я вышла из комнаты.

Достала из чемодана толстую вязаную кофту. Отопление здесь всегда работало плохо, а может, просто дом слишком большой. Я долго пыталась ужиться с холодом, сочившимся из-под штукатурки, но сегодня терпеть стало невозможно. Не включая свет, зашла в ванную. От холодного синеватого света люминесцентной лампы-трубки стало бы еще зябче. Я умылась над раковиной, размышляя о том, что случится завтра. Завтра, когда он умрет, я заменю все лампы в этом доме. Труба под раковиной протекала, и вода лилась на пол, в темноте она омывала мои ноги, теплая, словно кровь. Я все стояла у раковины и не могла найти в себе силы, чтобы закрыть кран.

Я спустилась на кухню, поджарила два яйца, вставила хлеб в тостер. Села за стол, медленно позавтракала, а потом достала из кладовки лестницу и пошла по комнатам снимать шторы с окон. Вернулась в гостиную на первом этаже и едва ее узнала. Я стояла в дверях и, щурясь, смотрела на большое голое окно гостиной. Солнечные лучи высвечивали даже мелкие пылинки, оглаживали запертую в комнате тайну.

После обеда я снова поднялась в спальню, чтобы посмотреть на него. Тело, придавленное толстым пуховым одеялом, будто немного усохло. Было все так же пасмурно, смерть кружила под потолком, не решаясь спуститься. Я почувствовала, как грудь сжало удушье, как стучит кровь в висках, накинула пальто и выбежала из дома.

Я бесцельно бродила по кампусу медуниверситета. Прошла мимо заброшенной школы, мимо галереи за библиотекой, мимо опустевших трибун на спортплощадке, но и там не вспомнила о тебе. Пока не оказалась у западного сектора Наньюаня. Старые дома снесли, на их месте стояли новенькие высотки со сверкающими металлическими дверями. Я двинулась мимо, дальше на запад, и с удивлением увидела, что твой дом по-прежнему на месте – со всех сторон окруженный башнями, он одиноко жался к ограде.

Я понимала, что вряд ли найду тебя там, ведь прошло столько лет. Но все равно вошла в подъезд и позвонила в квартиру 102. Из-за двери ответили: заходи. Помедлив, я открыла дверь и вошла. Внутри было темно, на плите, должно быть, что-то варилось – по комнате плыл густой пар. В кресле, закрыв глаза, сидел мужчина – похоже, спал. Сквозь сумрак, клубы пара и минувшие годы я все равно узнала тебя. Тихо позвала: Чэн Гун. Ты медленно открыл глаза, словно все это время ждал меня, устал от ожидания, вот и задремал. На секунду мне даже померещилось, что мы договаривались о встрече, просто у меня это стерлось из памяти. Но на самом деле ты меня не узнал, а когда я назвалась, радости не выказал. Я с трудом подыскивала слова, которые принято говорить после разлуки, вспомнила старых друзей, спросила про заброшенную школу. Скоро все слова, лежавшие на поверхности, были сказаны и мы увязли в молчании. Я не смогла придумать предлог, чтобы посидеть еще немного, поднялась и попрощалась.

Ты проводил меня до порога. Увидимся – всего хорошего, я вышла в подъезд, и дверь за мной закрылась. В полной тишине было слышно, как с железной притолоки слетела пыль.

Я стояла в подъезде, не решаясь выйти наружу. Боялась, что как только окажусь под уличным светом, нас с тобой снова разведет в разные стороны. В подъезд ворвалось ледяное дуновение, дверь скрипнула, будто кто-то вздохнул в темноте. Спутанные мысли ожили под сквозняком, словно разгорелись тлеющие уголья. Я начала понимать, зачем я здесь, собралась с духом и снова нажала на звонок. Я пригласила тебя зайти вечером в белый особнячок. Не дожидаясь ответа, развернулась и вышла на улицу.

Тропинкой вдоль озера я медленно возвратилась назад. Когда снова зашла в эту комнату, на душе было уже спокойно, я впервые достала из шкафа диск с фильмом и вставила его в плеер. Потом заварила чай, принесла два стула и села ждать тебя. Небо за окном постепенно темнело, человек на кровати что-то пробормотал – наверное, сон унес его далеко. Дышал он очень старательно, комнату заполнял бордовый воздух из его прогнивших легких. Почти исчезнувшее солнце вдруг блеснуло, и тусклое небо просветлело, как сознание умирающего перед смертью, – казалось, вот-вот оно явит какое-нибудь знамение. Окно распахнулось от ветра, я встала закрыть и только тут увидела, что идет снег. Внезапно я осознала, что ты не придешь. Но продолжала ждать.

Я смутно понимала, что именно так все и должно было случиться. Стемнело, снег повалил гуще. Я стояла у окна, всматриваясь в дорогу, проходящую чуть в стороне. Но вместо дороги лежала безбрежная белая гладь. Я впиалась глазами в эту белизну, чудилось – еще немного, и ослепну. Наконец замаячила черная точка, словно росток, проклюнувшийся сквозь землю, – она разрывала белизну и становилась все больше. Это был ты.

Ни о чем не спрашивая, ты поднялся за мной, зашел в спальню. Ты будто все знал заранее, даже не удивился, увидев его в постели. Только шагнул поближе и посмотрел на его лицо так, словно пытался взвесить эту жизнь, подвести ей итог. Но задача была не из простых, и в конце концов ты запутался в расчетах и оцепенело смотрел на него, пока я не принесла тебе стул.

Да, ты увидел – мой дедушка умирает. Знаю, мне следовало позвонить в больницу, приедет “скорая”, его увезут, и нынче же ночью соберется консилиум, дабы сделать все возможное, чтобы реанимировать больного. Наверное, они сумеют продлить ему жизнь – на несколько дней, но не больше. А потом начнут готовить похороны – церемонию прощания с академиком Ли Цзишэном. И я, единственная родственница умершего, присутствующая на похоронах, провожу его в последний путь. Люди со слезами будут вспоминать его жизнь, двигаться мелкими шажками к гробу, огибать его, незнакомцы станут рассказывать мне, каким великим, мудрым и уважаемым человеком был мой дедушка... На похороны приедет губернатор (или мэр), участливо пожмет мне руку, выразит соболезнования. Объективы камер, как верные псы, станут следовать за ним, ловить благостное выражение на моем лице. Всё сделают за меня, мне останется лишь заготовить достаточно слез для похорон.

И, скорее всего, мне удастся заплакать. Не по умершему, а по всему тому, что уйдет вместе с ним. Вот только я не смогу заставить себя позвонить в больницу. Один звонок – и его смерть превратится в торжественное мероприятие, не имеющее ко мне никакого отношения. Его окружают медсестры, врачи, ученики и коллеги, явятся с визитом какие-нибудь начальники, а еще пресса... Целая толпа втиснется в последний отрезок его жизни, дабы придать близящейся смерти должный размах. Великой жизни полагается грандиозная смерть. Тонет огромный корабль. Зная, что не должна мешать торжественному уходу великого человека, я все равно вцепилась в оставшееся ему время и не думаю ослаблять хватку. За все эти годы я ничего у него не просила, ни заботы, ни любви, ни славы... Ничего мне было не надо. И сейчас мне нужна только его смерть, я хочу получить ее в свое полное распоряжение. Я жду этой минуты, жду, когда несуществующий голос объявит мне, что все кончено.

Днем, глядя на тебя, я чувствовала, как что-то мешает, стоит между нами, – наверное, тебе давно известна эта тайна. Может, за долгие годы она успела растаять и просочиться в самую суть жизни. Но я уверена, что она все еще существует, пусть и в другой форме, и что

ты тоже не научился жить так, словно ее нет. Давай поговорим о ней? В первый и последний раз, и оставим все, что с ней связано, в сегодняшнем вечере.

Как густо валит снег. Крупные хлопья ложатся на землю, будто Бог бросает вниз письма, что писали ему люди. Рвет на клочки и бросает.

Чэн Гун

Я здесь ненадолго. Пережду метель и пойду на вокзал. Сегодня ночью я уезжаю, путь неблизкий. На самом деле я должен был выехать еще днем: когда ты пришла, я ждал доставщика воды. Явись он раньше, мы бы с тобой, наверное, не встретились.

Днем я собрал чемодан, зашел на кухню выпить воды, увидел, что в кулере пусто, и позволил в службу доставки. Прошло полчаса, паренек с водой так и не объявился. Вообще я не собирался его ждать, но в прошлый раз у меня не нашлось наличных, и я остался должен ему, вот и решил, что надо вернуть долг. Перед отъездом лучше завершить все дела. На улице было пасмурно, пить хотелось все сильнее, я достал из шкафа старый чайник, налил в него воды, поставил на плиту. Голубое пламя с шипением лизало дно чайника, он что-то шелестел в ответ, а я опустился в кресло и неожиданно заснул, мне даже приснился сон. Во сне мы с Большим Бинем и Цзыфэном снова были подростками, сломя голову неслись по ночному переулку. Похоже, мы выпили, нам было весело, прыщи на наших лицах пламенели. Мы бежали и бежали по переулку, а потом оказались на проспекте. Там мерцали неоновые огни и целая толпа таких же молодых ребят с пивными банками в руках двигалась в сторону площади. Мы запрыгнули в красный джип, припаркованный у обочины, двигатель взревел, и мы, свистя и улюлюкая, высунулись из окон. В облаке веселого праздничного угара джип летел вперед.

Сквозь сон я услышал стук, решил, что это паренек с водой, крикнул: “Заходи”. Дверь была не заперта, так что он мог войти и поставить бутыль. Я сидел с закрытыми глазами, вспоминая недавний сон. Он напоминал последние кадры какого-то фильма: исчезающая вдаль машина, узкие улицы, крошечные дома, затихающие возгласы, смех. Занавес, темнота. Они будто всё забрали с собой, и я тихо сидел в темноте, похожий на пустую чашку. Потом я почувствовал, что по комнате гуляет холодный ветер, значит, входная дверь осталась открытой. Но шагов я не слышал, в квартире висела тишина.

Я открыл глаза. Ты стояла у порога. Не знаю, сколько ты там простояла, может быть, ты даже видела, как я хохотал во сне. И как я огорчился, очнувшись, – видела меня в минуту наибольшей слабости. Ты тихо позвала: Чэн Гун, голос прозвучал хрипло, как у человека, который слишком долго молчал. Собирался снег, небо заволочло тучами, в комнате было темно. На плите шумно бурлил чайник. Я пристально смотрел на тебя, убеждаясь, что понятия не имею, кто ты такая. Но в сумрачном свете мне вдруг показалось, что эта незнакомая женщина, стоящая в дверях, почему-то тесно связана с моей судьбой. От этого чувства спину обдало холодом. Я напрягал память, кадры из прошлого щелкали, сменялись перед глазами. А потом ты сказала, что ты – Ли Цзяци.

Белый пар наплывал на твое лицо, взбитая ветром завивка, подрагивающие колени, едва прикрытые лапами пальто, – все это убеждало меня, что ты существуешь, что ты не продолжение недавнего сна. С нашей последней встречи прошло восемнадцать лет, неудивительно, что я тебя не узнал. Без косметики твое лицо выглядело бледным и припухшим, но в целом наши ожидания оправдались – ты превратилась в настоящую красавицу. Маленькое лицо сердечком портила лишь серая тревожная тень – верная примета столичного жителя. Ты спросила: наверное, ты представлял меня иначе? Вместо ответа я улыбнулся. Честно говоря, я никогда не думал, какой ты станешь. Все, что было с тобой связано, я мысленно отправил в архив, запечатав сургучом. Это может прозвучать немного обидно, но я и правда не ждал новой встречи с тобой.

Я прошел на кухню, выключил плиту. Вода успела наполовину выкипеть, комнату затянуло белым туманом. Ты напряженно села, глядя, как я разливаю чай. Спросила:

– Все по-старому, живешь с тетей и бабушкой?

Я сказал, что бабушка умерла, живу с тетей.

– Она так и не вышла замуж?

– Нет.

Разговор не клеился. Мы взяли в молчании, я чувствовал, как что-то тяжело давит на грудь, и хотел одного – поскорее закончить нашу встречу. Наверное, ты это заметила, но все равно старательно отыскивала новые темы для разговора. Чай остыл, туман в комнате рассеялся, наконец ты встала и попрощалась. Я с облегчением закрыл за тобой дверь, но тут снова раздался звонок. Теперь ты пригласила меня зайти вечером в белый особнячок. Я хотел отказаться, но ты уже ушла.

Я и не думал соглашаться. Мне казалось, что ни тебе, ни мне не нужна эта встреча, неважно почему. Я сидел в кресле и курил одну сигарету за другой, за окном темно, и вдруг в дверь постучали. За порогом стоял паренек с бутылкой на плече, оказалось, он отвозил воду в западный пригород. Лицо под испачканной серой шапкой выглядело растерянным.

– Я заблудился.

Проводив его, я надел пальто, взял чемодан и спустился на улицу. Было уже темно, в воздухе кружил снег. Я вышел из Наньюаня и целую вечность простоял у обочины, надеясь поймать такси, но машин не было. Наконец вдаль показалось такси, но водитель замахал рукой и крикнул, что едет в гараж. Я уже не на шутку замерз, переминался с ноги на ногу, согревал руки дыханием. В ресторанчике у меня за спиной хлопнула дверь: хозяйка побежала в соседний магазин за сигаретами для гостя. Увидела меня и радостно поздоровалась. Прошлым летом я часто приходил в ее ресторанчик выпить.

– Уезжаете? – спросила хозяйка.

Я кивнул.

– Торопитесь? Переждали бы снег, а то машину сейчас не поймать.

И я пошел за ней. За дальним столиком сидел средних лет мужчина, хозяйка подала ему сигареты, он сорвал с пачки целлофановую обертку и закурил. Я сел за столик у окна, попросил тарелку лувэй². Хозяйка была родом из Чаочжоу³, сюда приехала за мужем, потом муж сбежал с любовницей, а она осталась.

– Есть пиво лаосское, недавно завезли, хотите попробовать?

Я согласился, хотя пить совсем не хотелось. Я знал, что алкоголь расслабляет волю.

Я пил и закусывал сушеным доуфу. Пиво было легким, со вкусом лета. Хозяйка увлеченно беседовала с мужчиной, они обсудили и статую Мацзу⁴, и рецепты доуфу с начинкой из свиного фарша.

– Вода здесь плохая, – сокрушалась хозяйка. – Доуфу получается невкусный.

Потом мужчина расплатился и ушел. Кроме меня, посетителей не осталось, наступила тишина.

– Как там астма у вашей знакомой? – вдруг спросила хозяйка. – Недавно один посетитель рассказывал, что в их семье из поколения в поколение передается рецепт снадобья от астмы, так я попросила записать. – Она принялась рыться в ящике под прилавком. – Да где же он?

– Бросьте, не ищите.

– Вот, нашла! Вспомнила про вас и припрятала.

– Спасибо. – Я взял рецепт, сунул его в карман.

Она вернулась к прилавку, зажгла сигарету и пробормотала:

– Как валит снег...

Я отвернулся к окну. По черному ночному небу метались снежинки. Землю уже замело. На следы в снегу падал новый снег, превращая их в едва заметные вмятины.

² Лувэй – холодные закуски, приготовленные в соевом маринаде.

³ Чаочжоу – городской округ провинции Гуандун на юге Китая.

⁴ Мацзу – в китайской мифологии богиня-покровительница мореходов.

- Давно бы уехала отсюда на юг, если б не снег, – сказала хозяйка. – Вы любите снег?
– Люблю.

Больше мы не говорили, молча смотрели на метель за окном. Я вглядывался в светящуюся полосу между фонарем и землей, тучи снежинок ожесточенно крутились в ней и опадали на землю, словно души, барахтающиеся в океане сансары.

Вспомнилось, что тем давним вечером тоже был снегопад, уроки закончились, и я отправился на встречу с тобой. Перед отъездом ты пришла с мамой в школу, чтобы оформить перевод. Возле учительской встретила Большого Биня и передала через него, чтобы я пришел после уроков к дому твоего дедушки.

Я понимал, что потом увидеться будет непросто, что это последняя возможность все тебе рассказать. Но шагал я все медленнее, а потом и вовсе остановился напротив магазинчика “Канкан” – помнишь, раньше мы часто туда заглядывали. Там я развернулся и пошел домой. Я слышал, тем вечером ты долго меня ждала во дворе и только перед самым ужином мама увела тебя домой. Извини, что заставил ждать понапрасну. Не знаю, что на меня нашло. Может, я чувствовал свое бессилие и хотел решить хотя бы, как закончить нашу дружбу. С того вечера все, связанное с тобой, я мысленно отправлял в архив.

Большой Бинь раздобыл ваш новый адрес и накануне твоего дня рождения, навалившись на парту, подписал открытку, но я отказался ставить на ней свое имя. Потом он еще расстраивался, что ты ничего не ответила и не поздравила его с днем рождения. От тебя не было новостей. Ты начисто исчезла из нашей жизни, именно так, как я и хотел. Думаю, тем самым ты пыталась сказать, что одобряешь мое решение: раз мы не можем вернуть прошлое, поддерживать отношения нет никакого смысла. Когда-то мы были так близки и верили, что нашу дружбу невозможно разрушить, но на деле она оказалась очень хрупкой. Потому что с самого начала эта дружба была ошибкой – как дерево, выросшее посреди дороги. Рано или поздно его пришлось бы срубить.

Допив третью бутылку, я встал и застегнул пальто.

- Пора? – спросила хозяйка.

Я протянул ей деньги.

– Пройдите дальше, до большого перекрестка, может, там будут машины. – Она проворно отсчитала сдачу, сунула мне. – Счастливого пути!

Хозяйка распахнула дверь, в ресторанчик ворвался ветер вперемешку со снегом.

Я шагнул было на улицу, но вдруг замер в дверях. Застыл на месте с пылающим от алкоголя лицом. Наконец услышал, как спрашиваю хозяйку:

- Можно ненадолго оставить у вас чемодан? Вспомнил кое о чем.

– Конечно! Все равно в такую метель мне домой не добраться. Можете хоть ночью его забрать. – Она улыбнулась. – А я-то все гляжу, вы весь вечер сидите как на иголках. Ступайте скорей!

Я поблагодарил ее и вышел в метель.

По пути к тебе я прошел мимо магазинчика “Канкан”. На его месте теперь, правда, быстро “Дундун”. Стоянку для велосипедов снесли, крутой подъем в гору сровняли, да и дедушка твой переехал из западного сектора в белый особняк. Но снег скрыл все перемены, и я чувствовал, будто вернулся в тот вечер, когда мне было одиннадцать: ты уезжаешь, я иду проститься. Только теперь я не остановился напротив магазинчика. Наконец-то я проделал тот путь, что не смог пройти однажды.

Ли Цзяци

С приходом ночи мир здесь погружается в такую тишину, не слышно ни звука. Днем получше: дети играют в Центральном парке, гоняются друг за другом по замерзшему пруду и громко визжат. А в солнечную погоду можно увидеть даже девушек в свадебных платьях – скинув пальто, они трясутся от холода, позируя на фоне особняка. Наверное, все дело в зиме: у моря дует холодный ветер, теплые края далеко, вот и приходится искать красивый фон в кампусе медуниверситета. Особнячок невестам подходит как нельзя лучше: белоснежные стены, полукруглый, словно парящий в воздухе, балкон, арочные окна, украшенные орнаментом, – этого довольно, чтобы состряпать декорацию для их второсортного счастья. Хотя счастье по самой природе своей – фикция, а раз так, не все ли равно, какого оно сорта.

Белый особнячок. Так мы ласково его прозвали. В то время белоснежные особняки вроде этого были редкостью. В нашем грязном промышленном городе всему надлежало быть серым. Серые дома, серое небо, серый воздух. Серый был цветом фона, на котором проходило наше детство, и мы понимали, что белый особнячок здесь случайный гость. Притаившийся в одном из тупиков Центрального парка, издалека он походил на пышное облако, спрятанное среди густых деревьев. А мне всегда казалось, что это попавший в беду слоненок, заколдованный злым волшебником и обреченный стоять здесь вечно. Больше всего особнячок мне нравился летом: в окружении разросшихся фикусов, качавших встревоженными тенями по белым стенам, он напоминал резиденцию времен колонии, и в липком горячем воздухе слышалось дыхание распада. Пару раз, возвращаясь с купания, мы с тобой встречали стайку младшекласниц, которые играли на ступенях особнячка в семью, – накрыв головы белыми тюлевыми салфетками с подлокотников кресел, они воображали себя принцессами в свадебных нарядах. А мы, словно колдуны, явившиеся испортить праздник, хохоча и гримасничая, проходили мимо.

Но, знаешь, той ночью, когда мы с тобой пробрались в особнячок, я втайне решила, что однажды сыграю здесь свадьбу. Сколько нам было лет? Десять, одиннадцать? Тогда в нем еще размещался профсоюзный клуб, и как-то раз в субботу, пока сторож отошел, мы с тобой прошмыгнули внутрь – посмотреть, как взрослые танцуют бальные танцы. Там мы увидели красивую учительницу музыки. Все в ней было так необычно: туфли на каблучке, длинная широкая юбка, мужская ладонь на талии. Площадка для танцев тонула в сумраке, в воздухе сражались запахи пота и духов, прожекторы крутились как заведенные, и это не блики скакали по стенам, а наши заполошнные сердца. Потом мы вышли из танцевального зала и отправились бродить по дому. Прошли через двухъярусный холл, по деревянной лестнице поднялись на второй этаж и в конце коридора заметили маленькое круглое окошко. Навалившись животами на подоконник, мы выглянули наружу. В сыром вечернем небе висела закутанная в туман луна, вдруг туман рассеялся – луна оказалась идеально полной. Мы осторожно отступили назад, шагнули влево, переступили правее и наконец нашли нужную точку. Теперь луна была ровно посередине окошка. Круг, безупречно вписанный в круг. Мы с тобой стояли, соприкасаясь плечами, и, не мигая, смотрели в окно. В ту минуту мы словно очутились в самом центре мира. Но скоро туман опять заволок луну, будто испугавшись, что приоткрыл людям какую-то страшную тайну. Мир вокруг снова стал непонятным, не дающимся в руки. Мы медленно спустились по лестнице, мне было немного грустно, я думала о чем-то смутном и неуловимом, о счастье, о будущем, о вечности. Когда мы уходили, я решила пообещать что-то этому дому и загадала, что обязательно сыграю здесь свадьбу. Тебе я ничего не сказала, хотя в тот миг была уверена, что женихом будешь ты.

Ты всегда говорил мне, что этот особнячок построили немцы. В начале пятого класса тебя очень заинтересовал рассказ учителя истории о том, как Германия оккупировала бухту

Цзяочжоу⁵. Готический собор за воротами Дунмэнь, старомодное здание вокзала и этот пленительный белый особнячок... Ты повсюду искал следы, оставленные в городе немцами. Думал, что все эти здания были построены по приказу Гитлера, мечтал найти свастики, вырезанные в потайных местах особнячка. Еще ты по секрету говорил мне, что даже слегка восхищаешься Гитлером – по крайней мере, тот прожил необычную жизнь. Ты боялся заурядности, боялся, что твоя жизнь окажется камушком, беззвучно упавшим в речную воду.

Только много лет спустя я узнала, что особнячок построили в пятидесятых годах двадцатого века, тогда в наш медицинский университет назначили ректором какого-то очень именитого работника просвещения и специально для него выстроили этот дом. Но ректор мягко отказался, посчитав такой подарок слишком роскошным. Правда, это не помогло: в годы “культурной революции” особнячок ему все равно припомнили. “Оторвался от коллектива”, “использовал положение в личных целях”. Обвинения сыпались одно за другим, а особнячок превратился в площадку борьбы с классовым врагом. Бывшего ректора много дней держали здесь взаперти, и как-то ночью в одной из комнат на втором этаже – может быть, даже в этой – он перерезал себе артерию припрятанной бритвой. Доведенный несправедливостью до самоубийства ректор едва ли мог представить, что спустя годы этот дом превратится в декорацию счастья на свадебных снимках. А я уж точно не представляла, что однажды буду здесь жить. Теперь, если захочу, смогу хоть каждый день играть здесь свадьбу. Наверное, сейчас я подобралась к своей детской мечте ближе всего, осталось только найти мужчину, который согласится на мне жениться.

В прошлом году я едва не вышла замуж, его звали Тан Хуэй, он учился на три курса старше. Мы познакомились слишком рано, но и слишком поздно: главные события в моей жизни к тому времени уже произошли. Он знал это, но все равно решил попробовать. Он был очень хороший, как ангел, посланный во спасение, он тянул меня вверх – к сожалению, у него так ничего и не получилось. После нашего расставания я жила то у одних друзей, то у других; бестолковое было время. Но летом Пэйсюань вернулась из Штатов, и я на два месяца переехала к ней.

Ты ведь помнишь мою двоюродную сестру, прекрасную Пэйсюань, которая поднимала школьное знамя? Все это время она жила в Америке, в прошлом году защитила степень по медицине, сейчас преподает в Университете штата Огайо. Летом она вернулась в Китай и предложила встретиться. От нее же я узнала, что дедушка теперь живет в белом особнячке. Пэйсюань жаловалась: ничего хорошего в этом нет, особнячок слишком заметный, он превратился в одну из достопримечательностей кампуса, как пруд или Центральный парк. Вокруг вечно гуляют люди и, проходя мимо, обязательно заглядывают в окно. А некоторые даже в дверь стучат, спрашивают, можно ли сфотографироваться с академиком.

– Дедушка теперь как редкое животное, запертое в клетке, – злилась Пэйсюань.

Каждый год она приезжает сюда на лето и покупает что-нибудь в дом. Так на кухне появились кофеварка и электрогриль, без них ей и дня не протянуть. Но осенью, когда Пэйсюань уезжает, все покупки отправляются в кухонный шкаф: дедушка привык обходиться только железным чайником и котелком. Несмотря на кардинальные различия в образе жизни, ладят они друг с другом неплохо, время, проведенное с дедушкой, Пэйсюань называет “тихими летними денечками”, думаю, это что-то вроде синонима к слову “скука”.

С тех пор как я перевелась в другую школу и уехала из Наньюаня, мы больше не виделись с Пэйсюань. Но исправно обменивались контактами, в основном связь поддерживалась ее усилиями. Вскоре после отъезда в Штаты Пэйсюань прислала мне письмо со своим американским адресом, и с тех пор время от времени от нее приходили письма, иногда к письму

⁵ Цзяочжоу – бухта на южном побережье Шаньдунского полуострова, с 1898 по 1914 г. область Цзяочжоу была оккупирована Германией.

прилагался новый адрес. Потом, когда я поступила в университет в Пекине, она узнала у моей мамы телефон общежития и позвонила; обменявшись парой дежурных реплик, мы продиктовали друг другу свои электронные адреса. Иногда она писала мне, сообщая важные новости из своей жизни: поступила в магистратуру, осталась учиться в аспирантуре. В конце каждого письма Пэйсюань прибавляла одну и ту же фразу: “Надеюсь, ты найдешь время, чтобы навестить дедушку с бабушкой”. Я ни разу ей не ответила, только после выпуска из университета написала, что остаюсь работать в Пекине.

Для Пэйсюань поддерживать связь со мной было своего рода долгом: я – дедушкина родственница, а значит, она обязана помешать мне окончательно порвать с этой семьей. Единственный осмысленный разговор у нас случился пять лет назад, когда она позвонила ночью из Америки и, горько рыдая, сказала, что бабушка умерла. Она говорила, что приедет на похороны, и очень просила меня тоже поскорее приезжать. Но я не поехала. Потом от нее снова приходили письма, она рассказывала, что окончила аспирантуру, получила место на какой-то кафедре, в конце письма была та же самая приписка, только без слова “бабушка”. А нынешним летом Пэйсюань написала мне, что вернулась в Китай и на какое-то время остановится в Пекине.

Мы встретились в кофейне в центре города. У Пэйсюань была отличная фигура завсегда: тренажерного зала, кожа по-прежнему белая, даже неестественно белая. Но я не ожидала, что ее шрам будет так заметен. Я еще ни разу не видела ее со шрамом. Говорили, она залезла куда-то и неудачно упала, но это даже представить себе невозможно. Падения всегда были по моей части, это я вечно ходила со сбитыми коленками и синяками на руках, а Пэйсюань никогда не залезала в опасные места. Помнишь, как она приходила меня искать? Чтобы избавиться от нее, достаточно было вскарабкаться на стену у Башни мертвецов.

Выпуклый шрам тянулся от правого уголка рта наискосок вниз, до края нижней челюсти, в нем было сантиметров пять, не меньше. Когда Пэйсюань молчала, шрам как будто спал и не слишком бросался в глаза, но стоило ей заговорить, и он просыпался, начинал шевелиться вместе с губами, словно под тонкую кожу моей сестры забралась сколопендра. Мне было немного жаль Пэйсюань. С самого детства она ставила себе цель и шла вперед, не сворачивая с намеченного пути. Возможно, появление этого шрама было единственным незапланированным событием за всю ее жизнь.

Пэйсюань сказала, что какой-то телеканал готовится снимать документальный фильм про нашего дедушку. Она приехала в Китай, чтобы помочь съемочной группе в сборе материала, найти людей, которые знают дедушку, взять у них интервью. Она хотела, чтобы я, как вторая внучка, тоже приняла участие в съемках.

- Просто расскажи, как жила в детстве у дедушки, это несложно.
 - Я ничего не помню.
 - Так не бывает, напряги память...
 - Не получается.
 - Я понимаю, это все из-за твоего папы. Но не один дедушка виноват в их конфликте...
 - Это здесь ни при чем.
 - Конечно, он не идеальный человек, но...
 - Давай не будем, – сказала я. – Мне пора, ты еще посидишь?
- Вздохнув, Пэйсюань махнула официанту, чтобы принес счет.

Но она и не думала сдаваться – спустя пару дней снова позвонила мне, предлагая встретиться. У меня только что закончился очередной роман, нужно было срочно куда-то съезжать. Я сказала Пэйсюань, что ищу жилье и не смогу найти время для встречи. Тогда она предложила пожить у нее. Из-за съемок ей нужно было на два месяца задержаться в Пекине, и она сняла квартиру гостиничного типа. Я согласилась. У меня и правда никак не получалось найти подходящее жилье. И еще в глубине души я надеялась, что мы сможем как следует поговорить.

Я хотела рассказать Пэйсюань все, что знаю. Следующим же вечером я перебралась в ее квартиру.

– Это все твои вещи? – Обняв себя за плечи, она смотрела на два чемодана, которые я поставила у порога.

– Один неполный.

– Цыганской жизнью живешь?

– Почти, разве что не гадаю.

Я давно привыкла жить на чемоданах. Превосходно умею уничтожать следы своего пребывания в очередной квартире. Выбирая что-нибудь в дом, я всегда смотрю, какой объем займет покупка, для меня это не менее важно, чем цена. Из ряда вещей с одинаковыми характеристиками я всегда выберу ту, что меньше. И фен, и плойка, и утюг, и колонки у меня в мини-версии, я даже готова мириться с примитивным функционалом и розовым цветом, в который их выкрасили, чтобы угодить девочкам, не наигравшимся в Барби. Все духи у меня в пробниках по пять миллилитров. И я стараюсь выбирать вещи, которые можно использовать по нескольким назначениям: складной штопор со встроенной открывашкой для пивных бутылок и консервным ножом. Зарядное устройство, которое можно подключать к телефону, ноутбуку и фотоаппарату. Крем для лица и тела. Как женщины на диете, скрупулезно считающие калории, я подсчитываю каждый квадратный миллиметр своих вещей, сокращая занимаемое пространство до абсолютного минимума, как будто живу в чьем-то утянутом ремнем желудке.

Конечно, Пэйсюань не смогла бы этого понять, я слышала, что в Америке она одна занимает огромный дом, да еще и с садом. Родители ее живут отдельно, в Калифорнии, у ее отца всегда было слабое здоровье, а два года назад его парализовало после инсульта. Наверное, это значит, что он уже никогда не сможет повидаться с дедушкой.

На второй день после моего переезда Пэйсюань снова вспомнила о съемках:

– Просто скажи пару слов на камеру, и все. Разве это так сложно для тебя?

Кажется, я начала понимать. Неважно, что я буду говорить, главное – появиться в кадре. Скорее всего, так хотел режиссер: чтобы показать другую сторону дедушкиной жизни, нужно взять интервью у членов семьи. Но бабушка и папа уже умерли, дядя и тетя не могли приехать на съемки, так что из всей семьи остались только мы с Пэйсюань. Пэйсюань наверняка утаила от режиссера, что я уже много лет не поддерживаю с дедушкой отношений, ведь это обращало дедушку в печальную фигуру и рушило его идеальный образ.

– Хватит в фильме и одной внучки, – ответила я. – Зачем там столько родственников? Многие великие люди вообще не оставили потомства.

Пэйсюань потрясенно уставилась на меня. Помолчав, сказала:

– На самом деле из нас двоих дедушка всегда больше любил тебя.

Я рассмеялась:

– Какая ерунда! Они с папой друг друга терпеть не могли.

– Да, с твоим папой они не ладили, но тебя он любит больше. Знаешь почему? Ты похожа на его мать. Особенно лоб и глаза, это бабушка мне рассказала.

– Мы можем больше не касаться этой темы?

Следующие несколько дней она и правда не вспоминала о дедушке. Но я быстро поняла, что он все равно постоянно стоит между нами. Жизнь Пэйсюань была испещрена его следами. Порой мне даже мерещилось, будто я снова вернулась в детство, в те три года, что мы провели с ней в дедушкином доме. Взяв в руки чашку, я видела свое имя на кусочке пластыря, приклеенном к ручке, а на чашке, стоявшей на другом конце стола, было написано имя Пэйсюань. Раньше в дедушкином доме такой способ практиковался, чтобы мы не взяли по ошибке чужую посуду, выпить из чужой чашки было страшным событием, они жили в постоянном страхе, что кто-нибудь в семье болен гепатитом, и отсекали заразе все мыслимые пути. Помню, однажды

я тайком попила из чашки Пэйсюань, чтобы заразить ее простудой. Но практика показала, что могущество чашек сильно преувеличено.

На кафельную стену кухни-студии в съемной квартире Пэйсюань повесила несколько крючков для полотенец и рядом с каждым крючком наклеила кусочек пластыря с надписями: “для посуды”, “для стола”, “для рук”. Глядя на рядок полотенец с четко очерченными должностными обязанностями, я смутно чувствовала, что снова стою на кухне в дедушкином доме. Хуже всего было то, что она расклеивала повсюду не стикеры и не наклейки, а узенькие полоски пластыря, густо пахнувшие лекарством. Раньше у всех сотрудников больницы дома лежали запасы такого пластыря – наверное, и у твоей бабушки тоже. Но мало кто использовал их так обстоятельно, как мы. Целлофановая пленка, в которую заворачивали пульт, с двух сторон была оклеена пластырем, пластырь был и на антенне радиоприемника, две полоски пластыря скрепляли треснувший пенал, еще Пэйсюань научила меня, что пластырь можно порезать на мелкие кусочки и заклеивать ими помарки в домашних тетрадях. Потом в продаже появились корректоры, но она все равно не расставалась со своими обрезками. Я тогда ненавидела эти пластыри, ненавидела их больничный запах, а еще меня бесило, что и пульт, и пенал, и приемник, обмотанные пластырем, превращались в перевязанных бинтами пациентов.

Еще Пэйсюань унаследовала от дедушки почти фашистскую самодисциплину, которую называла “необходимыми ограничениями”. Утром, проснувшись, она тут же вскакивала с постели. Пообещав себе, что посмотрит телевизор тридцать минут, никогда не оставалась перед экраном дольше, и даже если фильм шел к концу, она безжалостно его выключала. Как-то мы разговорились после ужина, а потом она вспомнила, что пора подавать фрукты. Посмотрела на часы, было уже полдевятого, время фруктов прошло ровно в восемь, и Пэйсюань объявила, что есть не будет. В довершение всего оказалось, она носит брекеты, точнее, элайнеры, которые нужно снимать перед едой.

– Тебе же в детстве исправили зубы? – спросила я.

В те годы у Пэйсюань стояли проволочные брекеты, и при разговоре ее рот посверкивал металлом.

– Снова появилась щель, надо еще немного поносить, – объяснила Пэйсюань. – Никакой успех не дается раз и навсегда.

Я этой щели не видела, зубы Пэйсюань были ровные, как костяшки мацзяна⁶. Она рассказала, что иногда машинально давит на зубы кончиком языка, а элайнеры помогут избавиться от этой дурной привычки. Оказывается, и у нее тоже есть дурные привычки, она тоже делает что-то машинально. На моей памяти Пэйсюань даже спала, не теряя бдительности. Она подошла ко мне вплотную, попросила открыть рот.

– Тебе тоже надо поставить элайнеры.

– Нет уж. Если даже спать придется с пластиком во рту, во мне ничего живого не останется.

Как-то раз она вернулась из магазина с двумя бутылками красного вина. Сказала, что вечером можно будет немного выпить. Я обрадовалась: наконец у нас нашлось общее увлечение. Пэйсюань досуха протерла бокалы, поставила их рядышком на столе, налила в каждый вина, ровно три сантиметра от дна, и заткнула бутылку. Я сразу поняла, что у нас с ней разные представления о том, что такое “немного выпить”. Наливая вино, она не сводила глаз с бокала, словно на нем нарисована шкала, а у нее в руках пузырек с сиропом от кашля. Когда Пэйсюань заснула, я достала початую бутылку, вытащила пробку и допила вино в одиночку.

Проснувшись я ближе к обеду. Голова побаливала, я вышла в общую комнату, Пэйсюань сидела за компьютером, отвечала на письма.

– Ты, наверное, не помнишь, что было вчера? – спросила она, не отрываясь от монитора.

⁶ Мацзян (или маджонг) – китайская азартная игра для четырех игроков.

– Я напилась?

– Я встала ночью, а ты лежишь на полу. Бокал разбился, весь пол в стекле.

– Извини, я не умею пить. – Растирая виски, я заметила у себя на руке большой синяк.

– Еще как умеешь. Ты допила початую бутылку и открыла вторую, в ней тоже ни капли не осталось.

– Да? – Мне смутно вспоминалась вчерашняя ночь, как я с бутылкой в руке брожу по квартире в поисках штопора.

Беспокойно глядя на меня, Пэйсюань спросила:

– У тебя тоже появилась склонность к злоупотреблению алкоголем?

Тоже. Этим своим “тоже” она вынуждала меня вспомнить о папе.

– Наверное, – ответила я.

– Почему? – Она все смотрела на меня. – Почему ты не пытаешься бросить? Можно пройти лечение, в США есть специальные центры, в Китае тоже должны быть.

– Мне нравится пить, так я меньше себя ненавижу.

Я не сказала, что эта привычка – часть скудного наследства, доставшегося мне от папы. Опынев, я всегда чувствую, что он где-то рядом.

– Не ожидала, что ты так изменишься. – Она покачала головой. Страдание было не к лицу Пэйсюань, шрам на ее щеке кривился. А что будет, если она зарыдает или рассмеется, – “сколопендра” выскочит из-под кожи? Наконец я поняла, почему у моей сестры всегда такое бесстрастное лицо. Это выражение подходит ей лучше других, с ним шрам остается в покое.

Больше она не приносила домой вина. Иногда по вечерам я ходила выпить с друзьями. Заметив, что я укладываю волосы или крашусь, собираясь на выход, Пэйсюань очень сердилась. Ее раздражение было сложной природы: она походила то на мать, которая не может справиться с выходками дочери, то на маленькую девочку, обиженно наблюдающую за тем, как мама наряжается на свидание. Сама она никогда не красилась и почти не ходила на вечеринки. Пэйсюань часто жаловалась, что американцы тратят уйму времени на бессмысленные сборища, потому они и глупеют день ото дня. Наверное, посмотрев, как я живу, она поняла, что Китай недалеко ушел от Америки – люди во всем мире неудержимо глупеют.

Перед выходом я стояла у зеркала, примеряя одежду, снимала одно платье, надевала другое, раздумывала, в каком пойти. Отвернувшись от монитора, Пэйсюань наблюдала за мной. Я не спрашивала ее мнения, но она все равно говорила, что эти наряды никуда не годятся.

– Главное в одежде – материал, вещь должна быть удобной.

Как-то раз меня позвали на собеседование в редакцию модного журнала, и по указке Пэйсюань я вместо платья и туфель на каблуках надела ее строгий черный костюм и кожаные туфли на плоской подошве. Она сказала, что работающей женщине на официальные мероприятия уместнее приходить в брюках. Собеседование кончилось отказом, главный редактор наверняка решил, что я не имею ни малейшего представления о моде.

Умываясь, я всегда видела в зеркале белье, развешанное над ванной. Наши лифчики висели рядом, прижавшись друг к другу и безуспешно пытаясь изобразить дружбу. Мои – сплошь бордовые или нежно-розовые, с чашечками в виде узких полумесяцев, обшитых дешевым кружевом или атласом, между чашечек – маленький бантик, а на нем бусинка, которая не переживет и двух стирок. А у Пэйсюань все лифчики белые, из практичного, впитывающего пот хлопка, и модель одинаковая, максимально закрытая, на материал производитель не скупился – сбоку ткань доходила почти до подмышек. Я подозревала, что Пэйсюань просто пришла в магазин и смела с полки все закрытые лифчики своего размера.

Однажды, переодеваясь, я услышала за спиной ее угрюмый голос:

– Какой нарядный лифчик, это чтобы перед мужчинами красоваться?

– Почему перед мужчинами? Ты сама разве в зеркало не смотришь?

Она и правда не смотрелась в зеркало. Наверное, дело было в шраме, из-за него Пэйсюань не хотела видеть свое отражение. Жизнь без зеркал превращала ее в диковатую несформировавшуюся девочку. Иногда на ее лице даже проступало детское выражение, только счастливого блеска в глазах уже не было. Помню, как на утренней линейке по понедельникам Пэйсюань со знаменем в руках шагала к флагштоку, на солнце ее белая кожа почти слепила, от стройного силуэта веяло чем-то волнующе девичьим, и я была уверена, что все мальчики школы должны немедленно в нее влюбиться.

Однажды вечером мы впервые заговорили на довольно интимную тему. Обычно между двоюродными сестрами такие разговоры в порядке вещей, но у меня все равно было чувство, что я обидела Пэйсюань своим вопросом.

Я спросила, если ли у нее друг. Она сказала: нет.

– А сексуальный партнер?

– Мне это не нужно. – Она покраснела. – У меня насыщенная жизнь.

Пэйсюань рассказала, что еще не встретила своего мужчину. Она верила, что где-то в мире есть мужчина, с которым они идеально друг другу подходят, – он из хорошей семьи, прекрасно образован, у него престижная работа, а еще он вечно будет любить только ее. Пэйсюань терпеливо ждала этого мужчину.

– А ты? – смущенно спросила она.

– Ты своего мужчину еще не встретила, а мой уже ушел. Сейчас мне кажется, что все они похожи, ни один не лучше и не хуже других. Так что нет разницы, кто из них рядом.

– У тебя очень нездоровая жизненная позиция.

– У меня нет никакой позиции. Просто живу как живется.

Следующие две недели Пэйсюань пропадала на совещаниях со съемочной группой, они готовились записывать собранный материал. Я просыпалась ближе к полудню, ее уже не было дома. Я готовила себе завтрак, потом садилась к компьютеру, писала статью, искала вакансии, рассылала резюме. Пэйсюань возвращалась домой после ужина, к тому времени я уже собиралась уходить. Было лето, и почти каждый день кто-нибудь из друзей звал меня в бар выпить, а я никогда не отказывала. Домой я приходила глубокой ночью, Пэйсюань уже спала. Мы жили в одной квартире, но почти не виделись, и это было хорошо. Раньше, когда я жила у кого-нибудь в гостях и замечала, что не могу поладить с хозяином, то перестраивала свои биологические часы, чтобы как можно реже с ним встречаться.

А потом случился тот дождливый вечер. Было уже за полночь, промокшая до костей, я прибежала домой и увидела, что Пэйсюань еще не спит. Посреди комнаты стоял чемодан, она укладывала в него аккуратные стопочки одежды. Сердце у меня упало: неужели съемки закончились? Я даже немного огорчилась, пришла мысль, что теперь снова придется искать жилье, а следом накатила усталость. Но Пэйсюань объяснила, что уедет всего на пару дней, они собираются снимать в Юньнани и Мьянме.

– Юньнань? У вас видовой фильм или документальный?

– Ты же знаешь, дедушка служил в экспедиционных войсках. В годы войны с Японией Университет Цилу⁷ перевезли в Чэнду, там дедушка вступил в армию и вместе со своей частью побывал в Юньнани и Мьянме. Есть даже общая фотография, где бойцы роты сняты вместе с генералом Сунь Лижэнем⁸, я нашла на ней дедушку!

Конечно же, я ничего про это не знала, я даже не знала, кто такой генерал Сунь Лижэнь.

Пэйсюань взяла со стола книгу. Это был том про экспедиционные войска, я давно заметила его, как-то раз открыла, полистала немного и вернула на место. Бережно держа в руках

⁷ Университет Цилу – одно из старейших в Китае высших учебных заведений, располагается в городе Цзинань провинции Шаньдун. В годы войны университет перевезли в город Чэнду, столицу провинции Сычуань.

⁸ Сунь Лижэнь – знаменитый военачальник гоминьдановской армии, участник Второй японо-китайской войны и Гражданской войны в Китае.

книгу, Пэйсюань быстро нашла нужную страницу и показала мне фотографию, а на ней солдата, стоявшего крайним справа. Молодой боец на зернистом снимке, сделанном в другой стране и в другую эпоху, мог оказаться кем угодно. Я заметила, что правый уголок у страницы загнут, совсем немного, чтобы не замять фотографию и не закрыть фигуру солдата.

– Он служил в медсанчасти, спасал раненых. И когда Англия прислала войска в подкрепление, дедушка помогал переводить для их офицеров... – Рассказывая, Пэйсюань листала страницы.

– Хватит, я все равно не буду сниматься.

– Ты думаешь, я рассказываю, чтобы уговорить тебя на съемки? – холодно спросила Пэйсюань. Она захлопнула книгу и положила себе на колени. – Я просто решила, что ты должна знать. Дедушка – слава и гордость нашей семьи, признаешь ты это или нет. Я хотела поделиться с тобой этой славой. Прими ее, и она насытит тебя, придаст тебе сил.

Насытит? Как Святой Дух – христиан? Боюсь, Пэйсюань хотела поделиться со мной не славой, а верой. Ее чувства к дедушке были своего рода религией. Поэтому, даже понимая, что все усилия напрасны, она продолжала неумолимо пичкать меня “историями славы”, как христианин, принявший обет проповедовать Евангелие. Под взывающим взглядом Пэйсюань я чувствовала себя заблудшей овцой.

Покачивая головой, я тихо сказала:

– Пэйсюань, на самом деле заблуждаюсь не я, а ты.

Мы сидели рядом, с горечью глядя друг на друга, мне было жаль ее, а ей меня. Глупейшая сцена.

Я вдруг вспомнила, как однажды вечером мы с тобой вскарабкались на стену у Башни мертвецов, а Пэйсюань пришла забрать меня домой. Я отказывалась слезать со стены, да еще в красках описывала ей трупы, лежавшие у Башни. Пэйсюань побледнела, ее пробрала дрожь. Наконец она пошла прочь, но вдруг обернулась к нам и отчеканила:

– Ли Цзяци, тебя ждет кошмарная жизнь. – Голос у нее был странный, как будто это говорит не Пэйсюань, а оракул.

– Это тебя ждет кошмарная жизнь, – злобно ответила я.

И вот через много лет оба проклятия сбылись. Моя жизнь и правда была кошмаром. А у Пэйсюань разве нет?

Она всегда жила для дедушки и семьи. Дедушка и семья, словно поставленные в детстве брекеты, туго стягивали ее, придавая нужную форму. Чтобы не дать шанса ни одной щелочке, она продолжала носить их, даже повзрослев. Вся ее свобода была задавлена в наглухо сомкнутых щелях между зубами.

– Пэйсюань, – с трудом нарушив молчание, проговорила я, – ты понимаешь, до чего смешна твоя так называемая семейная гордость?

– Не надо. – Она резко встала. – Не можешь понять, так хотя бы не очерняй ее. Договорились? – Ее шрам дрожал.

Я отвела взгляд, раздумывая, как лучше продолжить разговор, но Пэйсюань уже убежала в свою комнату и захлопнула дверь.

Я сидела на диване в облаке опасной тишины. Представляла, как в следующую секунду брошусь к ее комнате и распахну дверь со словами: “Пэйсюань, дай я тебе кое-что расскажу”.

Наверное, она почувствует, что этот рассказ ее изнасилует. Но мы с моей тенью закроем выход, и она не сможет сбежать. Пэйсюань съжится, испуганно глядя на меня, а я развяжу мешок, и правда, как злобная собака, выскочит наружу, с бешеным лаем бросится на нее, разорвет доспехи из славы и гордости, вынет ее сердце и влажным языком слижет с него белоснежную глазурь веры. Пара минут – и Пэйсюань лишится самого дорогого в жизни. Она будет полностью уничтожена. А я спокойно досмотрю представление до конца, а потом скажу себе, что

моей вины здесь нет. Пэйсюань изнасиловала не я, а правда. Я только помогла правде развязать скрывавший ее мешок.

Но так ли это? Я задумалась. Узнав правду, своими глазами увидев, скольких людей она покалечила, я уже ни на что не могла повлиять, мне оставалось лишь нести ее в себе. Теперь же я вдруг осознала, что в моих руках есть некая власть. Власть решить, как распорядиться этой правдой. Я могла позволить ей разрушить жизнь Пэйсюань – само собой, я бы не придала этому значения, просто выложила все, что знаю, оправдывая свой поступок справедливостью. Еще я могла убедить себя, что открыть Пэйсюань глаза – мой долг. Справедливость и долг – как это благородно, жаль только, ни то ни другое нельзя почувствовать.

Сердце мое вдруг ослабело, размякло. Я хотела одного – стать немного милосердней. Семейная гордость, в которую верит Пэйсюань, – выдумка, но питает ее эта выдумка по-настоящему. В религии Пэйсюань нет ни добра, ни красоты, но Пэйсюань верит в обратное, и эта вера очищает ее сердце, дарует ей и добро, и красоту.

Я думала, что проявить милосердие к подруге и даже к незнакомой женщине мне было бы намного проще, чем к Пэйсюань. Милосердие дано нам с рождения, но с возрастом мы постепенно ожесточаемся и теряем его. Я вспомнила детство: мы с тобой обожали разгадывать чужие тайны, но когда, потратив уйму сил, наконец убедились, что Цзыфэн не родной сын своих родителей, решили об этом молчать. Мы напоминали друг другу, что при нем надо держать язык за зубами, нельзя и намеком показать, будто нам что-то известно. Однажды я по забывчивости разговорилась с Цзыфэном о группах крови у разных членов семьи, и после ты сердито меня отчитал, сказал, что я недобрая. Я даже расплакалась. Я так боялась оказаться недоброй.

Я сидела на диване, пристально глядя в окно со своего двенадцатого этажа. За окном бушевал ливень, молнии яркими лучами прочерчивали небо. Сноп света ворвался в комнату, схватил меня в охапку, ласково погладил по голове. Вряд ли ты сможешь представить, а мне не под силу описать, как остро я затосковала по тебе в ту минуту, когда решила навечно оставить эту тайну связанной в мешке.

Пэйсюань пришлось задержаться в Мьянме дольше, чем планировалось. Потом она позвонила и сказала, что ее вызывают по срочному делу в университет, она купила билет из Гонконга и в Пекин уже не вернется. Квартира оплачена за месяц вперед, так что я могу пока не съезжать.

– Желаю тебе поскорее найти работу. И бросить пить. – Пэйсюань звонила с мьянманской границы, из-за ветра ее голос напоминал летящего в небе голубя.

– И ты себя береги. – Я повесила трубку.

Отъезд Пэйсюань немного меня встряхнул. Теперь я реже ходила по барам, почти перестала напиваться, нашла работу в книжном магазине и сняла крошечную квартирку наполовину с подругой. Осенью ко мне на пару дней приехала мама. Плита на кухне сломалась, и мы сидели в тесной комнатке, ели что-то покупное. Опустив голову, мама молча копалась в рисе. Было ясно, что теперь она окончательно во мне разочарована. Мама всегда хотела, чтобы я поскорее вышла замуж, купила квартиру и перевезла ее к себе в столицу. Все эти годы она жила у своей сестры и устала ютиться под чужой крышей. Однажды ночью, вскоре после своего возвращения в Цзинань, она позвонила мне и спросила: интересно, как там твой дедушка? Я удивилась: за все годы она ни разу о нем не вспоминала. Помолчав, мама добавила: особнячок, в котором живет дедушка, – подарок медуниверситета. Он ведь за ним и останется, даже после смерти? Ты все-таки родная внучка, приехала бы, поухаживала за дедушкой, он очень обрадуется. Как знать, может, и особнячок тебе оставит. Я сказала, что не приеду, велела ей выбросить это из головы. Но мама стала как одержимая, звонила почти каждый день. Мало-помалу я забыла, зачем ей нужно вернуть меня в Цзинань, слышала только, как голос в трубке повторяет: возвращайся, возвращайся. Мне стали вспоминаться разные истории из детства, я

поняла, что очень скучаю по тому времени, когда жила в Наньюане. И неделю назад снова увидела тот же сон: я сижу в качающемся вагоне, к ногам подкатывается красная матрешка, я беру ее в руки. У самого уха раздается резкий женский голос: открой ее. Я развинчиваю матрешкин живот, внутри вижу точно такую же матрешку, но поменьше; я открываю и ее, там оказывается еще одна, еще меньше. Я развинчиваю их одну за другой, быстрее и быстрее, пот заливает мне глаза, кажется, это никогда не кончится. Половинки матрешек со стуком перекатываются по полу, женский голос повторяет: открой ее, открой! Когда я проснулась, вся подушка была в поту. Этот сон снова пришел за мной, каждое его появление – это зов. Я поняла, что должна вернуться. Что, наверное, дедушка скоро умрет.

Я приехала, никого не предупредив. Был вечер, в Центральном парке не работал ни один фонарь, меня окружали черные тени деревьев, лысые ветки качались на ветру. Луна высветила обрывистую тропинку, неровная галька под ногами тускло мерцала. Я не помнила, чтобы раньше пруд украшали эти насыпные горы, они асимметрично вздымались ввысь, словно ночь выставила свои зубы. С другого берега особнячок казался одиноким островом посреди пруда.

Звонок не работал, но дверь оказалась не заперта, я повернула ручку и шагнула внутрь. Шум и голоса привели меня в дальнюю комнату на первом этаже, вокруг стола толпились парни и девушки, за столом двое играли в пальцы⁹, еще несколько человек, трясая головами, пели песню на непонятном диалекте, одна парочка обнималась. Пол был завален пустыми бутылками, а на электрической плитке посреди стола шумно кипело чили-масло.

С трудом разобравшись, кто я такая, одна из девушек выскочила в коридор и забарабанила в закрытую дверь напротив. Дверь открылась не сразу.

Наконец оттуда вышла Сяо Мэй¹⁰ – сиделка, которая ухаживала за моим дедушкой. Она успела одеться, а вот мужчина за ее спиной еще нет, у него возникли неприятности с ремнем, и, стоя спиной к двери, он возился с пряжкой. Гости в панике разбежались, Сяо Мэй осталась одна – кусать губы и яростно оттирать стол. Само собой, она была недовольна: она ни разу меня не видела и даже не знала, что у дедушки есть еще одна внучка. По иронии судьбы этот огромный дом, олицетворение пожизненной славы, превратился в райский уголок для сиделки и ее дружков. Жаль, дедушка умрет, но так об этом и не узнает. Полгода назад он заболел воспалением легких и с тех пор лежит в спальне, прикованный к постели. К нему никто не приходит – дедушка терпеть не мог отвлекаться на гостей и несколько лет назад оборвал все связи с внешним миром.

Через два дня после приезда я рассчитала Сяо Мэй. Потому что она, в отличие от меня, чувствовала себя здесь настоящей хозяйкой. Перед уходом Сяо Мэй подошла к дедушке проститься, даже заплакала – наверное, она и правда была к нему привязана. Во всяком случае, ее чувства к нему были уж точно глубже моих. И дедушка к ней привык, но, ослабев под конец жизни, был вынужден на кого-то опереться и выбрал для этого меня.

Мы не виделись с ним много лет, он не узнал меня, но когда я назвалась, сразу мне поверил. И не возражал, чтобы я уволила Сяо Мэй. Все потому, что мы родственники. Кровное родство – то же самое насилие, оно намертво связывает людей, которые ничего друг к другу не чувствуют.

Цзяци, Цзяци. Иногда он ни с того ни с сего зовет меня по имени, как будто боится его забыть. Первые дни после приезда я подолгу сидела в этой комнате. Смотрела на него, думала о разговоре, который нам предстоит. О трагедии, развернувшейся в нашей семье, о том, как он стал тем, кем стал, и как я стала нынешней собой. Я повторяла речь, которую приготовила

⁹ Застольная игра, распространенная в азиатских странах. Играющие одновременно называют число от нуля до двадцати и выкидывают пальцы. Выигрывает тот, чье число равно сумме выкинутых пальцев всех игроков, проигравшие выпивают.

¹⁰ Сяо (“маленький”) – префикс, который используется при обращении к младшим по возрасту или положению.

для него, репетировала холод в голосе, оттачивала каждое слово, чтобы оно сделалось острым, как очиненный карандаш. Моя речь должна была пронзить его, нанести смертельный удар.

Но мы так и не поговорили. А смертельный удар ему нанес обычный сквозняк. Сяо Мэй ушла, а спустя несколько дней дедушка простудился, поднялась температура. Я два дня давала ему лекарства, и температура спала, но сознание так до конца и не прояснилось. Он не может сфокусировать взгляд, не слышит, что я говорю. Болезнь подоспела вовремя, словно желая защитить его, избавить от позора и боли. Он оказался отрезан от мира, накрыт стеклянным колпаком болезни, но сохранил и волю, и рассудок. Он ни разу не испачкал простыни, всегда ждет, пока я подложу судно. Чтобы испытать его волю, однажды я больше десяти часов не подходила к его постели, но он все равно дождался. Наверное, это профессиональное качество, выработанное за десятилетия, проведенные у операционного стола.

Со временем я почти перестала заходить в эту комнату, появлялась, только чтобы покормить его и подложить судно. Не хотелось встречаться с ним взглядом. Правда, вместо меня его мутные зрачки видят один силуэт с размытыми контурами. Он тоже опускает веки, отводит глаза. Мы как будто оба боимся, что, глядя друг на друга, случайно увидим и того, кто стоит между нами. Обтирая его, я всегда смотрю на теплые смятые простыни за его плечом. Он такой худой, что кожа, скручиваясь, тянется за полотенцем, и кажется, что я протираю кости, одну за другой. Он отворачивается, смотрит в пол. Наверное, для него это унижительно. Когда-то он был полубогом, вершил судьбы сотен людей, а теперь его тянут за руку, чтобы протереть подмышку. Правда, надо сказать, для старика он довольно чистый, от него нормально пахнет. Наверняка это тоже следствие сильной воли – он не позволяет себе смердеть. Даже сейчас он не махнул на себя рукой.

За все время сюда пришли только двое детей. Это было позавчера, они перелезли через ограду и тихонько забежали во двор. Я сидела на диване и читала. В кабинете нашлось немного классики в роскошных изданиях, которые покупают для украшения книжных шкафов, – помоему, их даже ни разу не открывали. Я взяла с полки “Грозовой перевал”. История налетела на меня и ударила в самое сердце. Потом я ненароком подняла голову и увидела, как двое детей, прижавшись к окну, заглядывают в комнату. Мальчик и девочка, обоим лет по десять. Мальчик был ни капли не похож на тебя, а девочка – на меня, но вместе они почему-то очень напоминали прежних нас. Я побежала к двери, распахнула ее и даже на секунду оторопела, увидев их у порога.

Мальчик сказал, что учитель словесности задал им сочинение на тему “Человек, которого все уважают”. Они оба из семей сотрудников медуниверситета и с малых лет слышали о моем дедушке, вот и решили написать о нем, а пришли, чтобы взять у него интервью. Я в интервью отказала, объяснив, что академик нездоров, тогда девочка подмигнула мне и заявила: значит, мы возьмем интервью у вас. Вы его внучка, хорошо его знаете, расскажите нам какую-нибудь историю про академика. Я ответила, что на самом деле ничего о нем не знаю. Дети не поверили, пристали ко мне с расспросами, тогда я посоветовала им самим что-нибудь сочинить. Они уставились на меня, выпучив глаза. А если учитель придет и спросит, скажете, что все правда, вы же сами это предложили? Да, так и скажу. И они, довольные, ушли. Человек, которого все уважают, должен быть окружен целым сонмом трогательных историй, неважно, правдивы они или нет.

Наверное, когда дедушка получил звание академика, это наделало немало шуму и в университете, и в прикрепленной к нему школе. К сожалению, я тогда уже перевелась в другую школу, там никто не знал, что известнейший в Китае специалист по болезням сердца, репортаж о котором занял целых две полосы в вечерней газете, – мой дедушка. Как будто некая тайная сила оторвала меня от него, помешав причаститься к его славе. Иногда я задумываюсь: какой бы я стала, если бы не уехала, если бы продолжала жить в его лучах?

Позавчера вечером я сидела в гостиной на первом этаже и смотрела телевизор. Показывали документальный репортаж, корреспондент разыскал ветеранов экспедиционных войск, оставшихся в Мьянме. Кто-то из них зарабатывал уроками китайского языка, другие держали мелочные лавки. Камера скользила по пожилым лицам. На чужой земле они даже старели осторожно, ни одна морщина не смела размашисто прорезать лицо. Здоровье у всех было отменным, только половина из ветеранов уже много лет как оглохла, а другая половина впала в маразм. Казалось, старики давным-давно запечатали себе глаза и уши и жили в собственном мире – так чужбина была хоть немного похожа на родину. После войны с японцами они решили остаться в Мьянме, потому что в Китае им пришлось бы идти еще и на гражданскую войну, смотреть, как свои убивают своих. Тогда их жизни и сошли с намеченного курса. Перестав шагать в ногу с великой эпохой, они зажили в благоденствии, за которое платили брошенностью. Если пешка отказывается ходить, в ней нет никакого толка.

Корреспондент разговорился с внучкой одного из ветеранов. Она унаследовала семейное дело, держит мелочную лавку. Я заворожено смотрела на ее смуглое лицо, ведь я тоже могла быть ею, останься дедушка за границей. Наверное, местные китайцы помогли бы ему открыть частную клинику, он трудился бы в поте лица, потом его дело продолжил бы папа, а там и я. Я бы выросла, закрутила роман с каким-нибудь мьянманцем, мы бежали бы под дождем на площадь послушать выступление Аун Сан Су Чжи, а узнав из телевизора о свободе, дарованной прессе, обнялись бы и радостно завизжали. Эта никогда не принадлежавшая мне жизнь семенем одуванчика залетела в чужую страну и дала торопливый цветок. Но, избавившись от пут корня, она может стать по-своему неповторимой. Во всяком случае, такая жизнь чище. Все древние страны покрыты толстым слоем пыли, и отъезд – способ от нее очиститься. Замешанная на боли свобода, которую я так желала.

К сожалению, у дедушки не хватило смелости остаться за границей. И тощая мьянманская земля никогда уже не примет в себя его честолюбивое сердце. Хотя Пэйсюань вовсе не считает дедушку честолюбивым. В документальном фильме она говорит: дедушка однажды сказал мне, что на самом деле всегда плыл по течению. В годы учебы прилежно сидел над книгами, став врачом, старательно лечил больных. Когда пришла пора служить, он пошел в армию, а когда нужно было вступить в партию, вступил в партию. Он просто успевал шагать в ногу с эпохой. Времена стремительно менялись – не успел опомниться, а под ногами уже пустота и ты летишь в пропасть. На самом деле научиться плыть по течению сложнее всего. Как разведчик, который терпеливо ищет нужную радиоволну, ты должен обладать острым слухом и спокойным сердцем, настраивая себя на волну с эпохой.

Сейчас на экране тот самый фильм, что она прислала. Я поставила его на повтор, пока ждала тебя, и смотрела урывками, то и дело отвлекаясь. При случае скажу Пэйсюань, что мне очень понравилась часть про экспедиционные войска. Мне нравится первая половина дедушкиной жизни, я люблю представлять, что за судьба была бы у нашей семьи, остановись он в одном из тех мест.

15'37"

“ДОБРОЕ СЕРДЦЕ И ДОБРЫЕ РУКИ – ЗНАКОМСТВО С АКАДЕМИКОМ ЛИ ЦЗИШЭНОМ”

За столом у окна сидит пожилая женщина в бордовой рубашке.

Титр:

ЦЗЯН АЙЛАНЬ, СТАРШАЯ ДОЧЬ ЧЭНЬ ШУЧЖЭНЬ.

Женщина открывает овальную жестяную коробку, достает из нее сложенное вчетверо письмо. Расправляет его, кладет на стол. Края письма обтрепались, две строчки чернил размыты. На экране иероглиф за иероглифом появляется текст письма:

Шучжэнь, здравствуй.

Наш медотряд разбил лагерь на склоне горы. Горы в этих местах опасные, после дождя даже шагу ступить невозможно. Душит жара, но все равно приходится кутаться в одежду, защищаться от пиявок, которых здесь великое множество. Днем я провел ампутацию, до конца жизни ее не забуду. Пациент – господин Вуд, лучший врач в медотряде, в Англии он пользовал аристократов и членов королевской семьи. Последние два месяца я был его помощником и переводчиком, но он еще ни разу не доверил мне скальпель, полагался только на себя, никому другому оперировать не позволял. Позавчера мы попали под авиаудар, погибло десять человек, господин Вуд был ранен. Весь день он пролежал без сознания, а очнувшись, спросил: “Правую руку уже не спасти?” Я покачал головой. Его глаза покраснели. Перед операцией он велел мне подержать его за правую руку, а потом сказал: “Я передал тебе свой талант”. Операция прошла успешно, он пока не очнулся от наркоза. Я ушел из лагеря побыть в одиночестве; вдалеке снова раздаются сигналы тревоги. Шучжэнь, за эти дни я еще глубже почувствовал, как изменчива бывает судьба. Жизнь ничтожна, в ней нет и капли достоинства, а война – всего лишь игрушка в руках генералов. Какой смысл в победе, если ее цена – гибель стольких людей? Но я часто вспоминаю тебя, и это не дает мне пасть духом. Я обязательно вернусь к тебе, чего бы это ни стоило.

Цзишэн

Смена кадра. Пожилая женщина складывает письмо, возвращает его в жестяную коробку.

Титр:

ЭТО ПИСЬМО ЛИ ЦЗИШЭН ОТПРАВИЛ ЧЭНЬ ШУЧЖЭНЬ ИЗ МЬЯНМЫ В 1943 ГОДУ. ОНО ОКАЗАЛОСЬ ЕДИНСТВЕННЫМ, ПОСЛЕ ОНИ ПОТЕРЯЛИ ДРУГ ДРУГА ИЗ ВИДУ ДО САМОГО КОНЦА ВОЙНЫ. КОГДА ЛИ ЦЗИШЭН ВЕРНУЛСЯ С ФРОНТА, ЧЭНЬ ШУЧЖЭНЬ УЖЕ ДВА ГОДА БЫЛА ЗАМУЖЕМ. В 2008 ГОДУ ЧЭНЬ ШУЧЖЭНЬ, ЛЕЖА НА СМЕРТНОМ ОДРЕ, ПОЖЕЛАЛА УВИДЕТЬСЯ С ЛИ ЦЗИШЭНОМ, НО ОН БЫЛ НА КОНФЕРЕНЦИИ В США И НЕ СМОГ ПРИЕХАТЬ.

Чэн Гун

Тетя не знает, что я уезжаю. Наверное, лежит сейчас на кровати и чутко ловит звуки за дверью. Последние два года она страдает неврастением и засыпает всегда дольше, чем спит. Если я поздно возвращаюсь домой, она лежит в темноте без сна и прислушивается, а засыпает, только услышав щелчок замка и мои шаги. Она думает, что сегодня все будет как обычно, что я просто ушел выпить. Тетя не против моих попоек, и даже если я прихожу домой пьяным, ей все равно. Для нее наверняка не секрет, что в последний год у меня появилась небольшая алкогольная зависимость. Но как знать, может, этого она и хотела. У мужчины, который каждый вечер напивается, вряд ли есть шансы понравиться девушкам. К тому же у алкоголиков снижаются половые потребности, постепенно они вообще утрачивают способность любить. Я должен поскорее состариться, лучше, если я успею состариться одновременно с тетей и мы вместе покинем этот мир. Так нужно для моего же блага – тетя беспокоится, что после ее смерти я стану очень одинок.

Но сегодня она меня не дожидется. Всю ночь пролежит без сна, может быть, только на рассвете заставит себя ненадолго вздремнуть, но скоро снова проснется. Она включит ночник, посмотрит на будильник, встанет с кровати, проверит дверной замок, потом попытается до меня дозвониться – будет расхаживать по комнате, слушая длинные гудки. И в какой-то момент вдруг поймет, что я не вернусь. Стоя посреди квартиры, освещенной первыми утренними лучами, тетя поглядит по сторонам, и я могу представить, какой ужас ее охватит. Знакомые предметы покажутся чужими – я знаю это чувство.

Я впервые по-настоящему уезжаю из Цзинаня, перебираюсь в другие края. Много лет назад тетя услышала от гадателя, что должна всю жизнь провести там, где родилась, дальняя дорога обернется для нее несчастьем. Она любит повторять, что наши “восемь знаков”¹¹ очень похожи и мне тоже нельзя уезжать далеко от дома. Эти годы мы с тетей делили одну жизнь на двоих, и я действительно стал все больше походить на нее. Постепенно ее страх перед дальней дорогой передался и мне. Какая-то странная убежденность держала меня на месте, я словно чего-то ждал. Тогда мне очень хотелось рассказать об этом чувстве Сяо Кэ, но я даже себе не мог объяснить, чего же на самом деле дожидаюсь.

Сяо Кэ тоже молчала и без остановки расчесывала комариный укус на руке. Был август, ржавый вентилятор шелестел, вздувая занавески, а Сяо Кэ, раздевшись по пояс, ходила кругами по комнате и с силой расчесывала руку. На месте укуса выступила кровь, но она этого не замечала. Рана затягивалась коркой, которую она снова сдирала, и скоро расчесанный укус превратился в лунку, которая с каждым днем разрасталась. Она не зажила до самого ухода Сяо Кэ.

Мы познакомились семь лет назад. Я тогда работал в рекламном агентстве. Вообще-то я мог уехать учиться в другой город, но решил остаться здесь и всегда немного жалел о своем решении. Характер у бабушки с годами еще больше испортился, в конце она стала просто невыносима. Поэтому мне очень хотелось отсюда уехать, и Сяо Кэ тоже. Она, как и я, жила с семьей, отец ее был отставной военный, настоящий садист, она от него натерпелась. Чтобы Сяо Кэ хранила целомудрие, он не разрешал ей встречаться с парнями. Но уже на втором свидании она легла со мной в постель. Поначалу мы встречались в гостинице неподалеку от ее дома, каждый раз оставались там не больше часа. Конечно, я чувствовал себя свободнее, но все равно вынужден был скрывать существование Сяо Кэ от бабушки и тети.

¹¹ Восемь циклических знаков, обозначающих год, месяц, день и час рождения человека. В традиционном Китае считалось, что “восемь знаков” определяют судьбу человека.

Бабушка всегда боялась, что я влюблюсь, уйду из дома и забуду о ней. На первом курсе института у меня случился роман, и бабушка места себе не находила – постоянно искала повод для ссоры, потом пошла к той девушке и стала ей угрожать. Я разозлился и съехал. Через несколько месяцев девушка ушла от меня к одному из своих воздыхателей и я вернулся с чемоданом домой. Бабушка ничего не сказала. А тетя была сама забота: каждый день готовила мои любимые блюда, на выходных пошла со мной в горы. Стоя на ветреной вершине, тетя призналась: когда ты ушел и бросил меня с бабушкой, я едва не умерла от страха. С тех пор я больше не заводил серьезных отношений. Казалось, ни одна девушка этого не стоит.

Но Сяо Кэ стала исключением. Мы часто заговаривали о том, как “сбежим”. Как, никому не сказав, уедем в другой город и начнем там новую жизнь. Эти разговоры всегда напоминали мне, как мы с тобой в детстве мечтали о далеких краях. Помнишь, ты хотела поехать в Пекин, потому что там жил твой папа? А я собирался отправиться на поиски мамы в Шэньчжэнь, а может быть, в Гуанчжоу, я не знал, где она. Мы планировали, что сначала поедem в Пекин к твоему папе, а потом отправимся искать мою маму. Мы будем долго ехать на поезде, засыпать и просыпаться в громящем вагоне, прильнув к окну, смотреть на пролетающие мимо деревья, обжигаясь, есть из одной миски лапшу быстрого приготовления. Ты обещала, что будешь стирать мне носки, я сказал, что во время стоянок буду спускаться на платформу и покупать тебе батат, а еще пообещал, что разрешу тебе есть мороженое, даже если денег останется совсем немного. Эти фантазии приводили нас в неизменный восторг, как игра, которая никогда не надоедает. Много лет спустя я снова взялся играть в нее, на этот раз с Сяо Кэ. Но теперь наши планы были реалистичней. Мы собирались поехать в Шанхай – в Шанхае много возможностей, заработаем денег, откроем свое дело. Мы обсуждали это на каждой встрече и, окрыленные, договаривались завтра же тронуться в путь, но через час снова расходились по домам.

А потом, в мае, бабушка попала в больницу. Много дней лежала с температурой, резко похудела, в итоге обследование показало рак печени в терминальной стадии. Доктор выписал ее домой, дал ей не больше трех месяцев. Бабушка была уже немного не в себе, думала, что мы с тетей хотим ее погубить, и ни в какую не соглашалась уходить из больницы. Стационар при университетской больнице всегда битком набит пациентами, но бабушка все-таки вытребовала себе койку в старом корпусе, где раньше лежал мой дедушка, упирая на то, что он когда-то был начальником больницы, а тетя по сей день там работает. Старый корпус к тому времени почти превратился в дом престарелых, в палатах лежали одни старики, ожидавшие смерти, а о жестокости сестер слагались легенды, так что бабушка вдоволь хлебнула горя. К тому же, остерегаясь нас с тетей, она и сберкнижку, и украшения держала при себе, боялась, что их похитят, и ни одной ночи не спала спокойно.

– Дома ничего не трогайте. Я уже скоро поправлюсь, через пару дней возвращаюсь, – говорила бабушка. А мы видели, как она день ото дня угасает.

В конце мая Сяо Кэ ни с того ни с сего явилась к моему дому с чемоданом. Она сказала, что окончательно рассорилась с отцом, уволилась с работы (она работала в фитнес-клубе недалеко от дома) и решила, что к родителям больше не вернется.

Я временно поселил ее наверху. Наверное, увидев сегодня мой дом, ты очень удивилась, ведь все старые постройки в западном секторе снесли, только дом номер восемь, в котором жила моя бабушка, остался на месте. Его тоже должны были снести, но бабушка наотрез отказалась переезжать, требуя у руководства университета компенсацию в двойном размере. Все соседи уже съехали, в доме остались только мы, из университетского отдела по вопросам сноса ветхого жилья что ни день приходили сотрудники, пытались переубедить бабушку, но все было напрасно. Они знали, что бабушка – человек несговорчивый, чуть только тронь ее – начинает скандалить, а скандалит она страшно, и решили пока наш дом не сносить. Наверное, они думали, что бабушка и пары лет не протянет. Кто же знал, что она проживет так долго, в уни-

верситете уже два ректора сменилось, а бабушке все было нипочем. Когда соседи съехали, она взломала замки в дверях и заявила, что теперь все квартиры в доме ее. По ее заданию мы с тетей купили и расставили по квартирам несколько дешевых панцирных кроватей и пластиковую мебель, и бабушка стала сдавать жилье приезжим, которые работали на рынке электроники недалеко от Наньюаня. Она превратилась в настоящую домовладелицу, целыми днями ходила по этажам, собирая арендную плату, – в общем, жила полной жизнью. Так продолжалось лет семь или восемь, а потом рынок куда-то перевели, квартирантов стало меньше, а в конце вообще никого не осталось. В целом доме теперь жили только мы одни, трещины на стенах росли, проводка барахлила, и мы часто сидели без света. Окна на верхних этажах побились, и ставни качались на ветру, как будто в доме хозяйничает привидение.

Я поселил Сяо Кэ на третьем этаже, в квартире с окнами на восток. Мы распахнули ставни, убрали со стен паутину. Сяо Кэ включила мой приемник и подметала, мурлыча песенку. Я же сначала поливал пол из шланга, а потом подкрался к Сяо Кэ сзади и окатил ее водой. Она отобрала у меня шланг, и мы, насквозь мокрые, гонялись друг за другом по пустой квартире. А потом свалились на матрас, обернутый пластиковой пленкой, и занимались любовью. После секса на лице Сяо Кэ всегда выступали красные пятнышки, мелкая-мелкая сыпь. Ее эти пятнышки огорчали, а мне, наоборот, казались очень красивыми.

Скоро я поссорился с начальником и недолго думая уволился из агентства. Появилась целая прорыва времени, я мог навещать Сяо Кэ и утром, и днем, и вечером. Если тетя работала в ночную смену, я уходил спать наверх. Иногда шел покормить бабушку или купить бутылку соевого соуса для тети и заодно успевал заглянуть к Сяо Кэ, занести ей коробочку покупного жареного риса. Наступило лето. Мы натянули полог от комаров, и матрас превратился в плот, на котором мы коротали и дни и ночи – ели, смотрели кино, играли. И занимались любовью. Без конца занимались любовью, пока не обессилевали. Ни она, ни я не говорили об этом вслух, но мы оба ждали.

Все эти годы мы с тетей не могли переехать в другую квартиру, выбросить что-то из мебели, изменить замшелый уклад, которым жила наша семья, – во всем нужно было следовать бабушкиной воле, а значит, оставлять все по-старому. Мы ждали, что однажды бабушки не станет и у нас начнется новая жизнь. И вот к строю ожидающих присоединилась Сяо Кэ. Она ждала, когда я получу свободу и смогу уехать с ней. Но теперь мы ждали молча и об отъезде не заговаривали.

Днем мы лежали голышом на полу, пили пиво, поджаривая пупки на солнце. Я напивался до бесчувствия, пока ноги и руки не становились ватными, а потом забирался на Сяо Кэ и входил в нее, в ее бездонную сердцевину. Вязкая влага все прибывала, она облизывала наши раскаленные границы, и по телу разбегались судороги. Я ложился на Сяо Кэ, закрывал глаза и весь погружался в ее плоть. Предельно мягкая плоть распаивалась мне навстречу через узкое тазовое кольцо, дрожала и сокращалась. Я был не в силах остановиться, я уже ничего не чувствовал, но не мог кончить. Эрекция долго не проходила. Одинокая обескураживающая твердость, последний аккорд безумной молодости.

В конце июня бабушка попала в отделение интенсивной терапии. Мы застали ее в сознании, она потребовала убрать кислородную маску и спросила тетю:

– Скажи, твой отец ждет меня там?

Тетя растерялась и ответила, что не знает. Помолчав, бабушка покачала головой:

– Надоело быть одной.

Через два дня бабушка умерла. Когда зазвонил телефон, я спал в обнимку с Сяо Кэ. Поговорив с тетей, лег обратно и крепко обнял Сяо Кэ. Она открыла глаза, спросила, что случилось. Я попросил не шевелиться, полежать со мной еще немного. Свобода оказалась на вкус не такой, как представлялось, и я чувствовал только легкую дурноту.

На похороны никто не пришел. В Наньюане бабушка пользовалась плохой славой, соседи даже на глаза ей попадаться боялись, а уж о дружбе и речи не шло. Когда мы возвращались домой, начался дождь. Мы с тетей выскочили из автобуса и, прикрывая урну, побежали к козырьку у почтового отделения. Стояли там, а дождь и не думал стихать, лил все сильнее. Вдруг тетя заплакала и сказала: Чэн Гун, я ведь теперь сирота, не губи меня.

Мы похоронили бабушкин прах в горах недалеко от города. Она лежит там совсем одна, без родственников. Сначала мы хотели отвезти урну в ее родную деревню, но тетя помнила только, что это где-то в шаньдунском уезде Цаосянь, а названия деревни не знала. В семнадцать лет бабушка ушла из дома и больше туда не возвращалась. Когда мы ехали обратно, тетя сказала: вот похоронили бабушку, теперь у нас тоже есть родовое кладбище. Значит, мы по-настоящему пустили корни в этом городе.

После смерти великого диктатора людей охватывает страшная пустота. Сопротивление было задачей всей жизни, больше они ничего не умеют. А теперь свобода свалилась на них, точно какой-то сложный измерительный прибор, они вертят этот прибор в руках и не понимают, куда его приспособить. Всю следующую неделю мы с тетей жили, осторожно следуя старым правилам. Она как обычно ходила на работу, я днем поднимался к Сяо Кэ, ближе к вечеру спускался за продуктами, потом мы с тетей садились по разные стороны старого квадратного стола и ужинали. Лампочка над головой по-прежнему барахлила и постоянно моргала, как зловещий глаз. И еду тетя продолжала пережаривать, как будто готовит для бабушки. Засаленная пластиковая скатерть хранила запах бабушкиной слюны и постоянно напоминала, как бабушка сидела между нами, обглаживая свиные ребра. В воскресенье я повел тетю в магазин, мы купили кулер для воды и соковыжималку, о которой она давно мечтала. Вот и все, это и была наша долгожданная новая жизнь.

И с Сяо Кэ мы тоже жили по-старому. Правда, она начала стрелять у меня сигареты, а еще постоянно перекладывала в чемодане жалкие стопочки своей одежды. Потом как-то раз пошла и набила татуировку. Маленькую птичку на ладони. Объяснила, что это голубь мира, символ молитвы за мир во всем мире. А потом хмыкнула и сказала, что просто хотела татуировку, но не могла придумать какую. Голубь мира очень подходил ее характеру. Она с детства насмотрелась ссор между родителями и не выносила раздоров, никогда ни о чем не спорила. Я не слышал от Сяо Кэ ни одного попрека. Только чувствовал ее увесистое молчание, которое с каждым днем становилось тяжелее.

Я сам не знал, почему так и не трогаюсь с места. Может, чувствовал за собой какой-то долг, вот и решил помочь тете с переездом. Университет держал для нас квартиру в многоэтажке, чтобы мы могли переехать туда сразу, как только решимся. Мы с тетей посмотрели ту квартиру, она была на двенадцатом этаже, светлая, с большим балконом. Начали готовиться к переезду, на выходных устроили генеральную уборку. Бабушка любила копить мусор и ничего не разрешала выбрасывать. Лысая метелка для пыли, щербатый гребешок, пустая банка из-под крема... Мы сложили все это в картонные коробки, а коробки составили друг на друга у стены. Я хотел взять напрокат велосипед с кузовом и отвезти коробки на мусорную станцию, но дождь зарядил на два дня, и я отложил это дело на потом. Когда же раздобыл велосипед и начал носить коробки, тетя вдруг заявила: “Вот умру, тогда и выбросишь все вместе. Все равно мне недолго осталось”.

Не обращая на нее внимания, я понес мусор вниз. Но она подбежала к двери и загородила мне выход:

– Я никуда не поеду, останусь здесь. А ты уезжай, если хочешь.

– Давно хочу. – Я бросил коробку на пол и вышел за дверь.

К Сяо Кэ я не пошел, вместо этого спустился в ресторанчик, съел там миску лапши, а потом допоздна шатался по улицам. Я решил, что утром поговорю с тетей, попытаюсь убедить ее переехать в новую квартиру, а после скажу, что друг устроил меня в одну шанхайскую фирму

и я хочу там поработать. Вернулся домой и увидел, что во всех комнатах горит свет. Тетя ждала меня в гостиной, на столе стоял давно остывший ужин. Сама она к еде не притронулась. Я хотел уйти к себе в комнату, но она окликнула меня, сказала, что надо поговорить. А когда я сел, замолчала.

– Сама не знаю, что со мной такое... – Она заплакала. – После смерти бабушки ночами я не сплю, в голове беспрестанно крутятся разные истории из прошлого, как в кино, сначала я смотрю на них из зрительного зала, потом сама поднимаюсь на сцену... Знаешь, у меня странное чувство, – тетя потупилась и закачала головой, – что бабушка все еще жив...

– В вегетативном состоянии невозможно прожить сорок два года. – Я очень удивился, что с ходу сказал про сорок два года, как будто все время вел про себя счет. На самом деле мы уже очень давно не заговаривали про бабушку. Двадцать лет назад он пропал – однажды ночью его похитили из палаты, и с тех пор о нем ничего не известно.

– Но вдруг случилось чудо? И бабушка перед смертью о том же спрашивала. Она что-то знала. Перед смертью людям открывается больше, чем обычно.

– Это всего лишь домыслы.

– Неправда, – ответила тетя. – Когда мы хоронили бабушку, я узнала, что свидетельство о смерти выдается только родственникам, а без свидетельства не кремируют. Если он умер, что делать с телом? Закопать? Выбросить? И то и другое незаконно, остается один выход. – Тетя посмотрела на меня: – Подбросить его обратно.

– А похищение разве законно? Кто станет подбрасывать труп, рискуя попасться?

– Соседей у нас в доме не осталось, если ночью принести его к порогу, никто не увидит.

– И ты каждый день ждешь, что поутру откроешь двери, а бабушка лежит на пороге?

– Я не жду, а вот бабушка ждала, – ответила тетя. – Я теперь понимаю, почему она так упиралась и отказывалась переезжать. Все из-за него.

– Да ладно, она мечтала, чтобы он поскорее умер.

– Иногда человек и сам не знает, чего хочет. Я думала, что мечтаю отсюда переехать, поселиться в квартире побольше, чтобы у меня была нормальная комната, а теперь... Не знаю, я просто чувствую, что должна оставаться здесь, что история с бабушкой еще не окончена... – Она снова заплакала.

– Хватит, – отрезал я.

В какой-то степени она была права. Со смертью бабушки наше ожидание не прекратилось. Потому что мы теперь ждали другого. Может, возвращения бабушки, я сам не знаю. Но мне тоже не верилось, что его история подошла к концу. Не потому что в ней остались нераскрытые загадки – я знал все, что должен был, но чувствовал некую незавершенность и никак не мог от нее отделаться.

Мы молчали. Тетя тихо всхлипывала. Я пододвинул к себе тарелку с жареным арахисом, брал его горстями и ел.

С тех пор тетя стала бояться одиночества. Просила меня быть рядом и говорить с ней, даже пока готовила. А вечером тем более не хотела меня отпускать. Я сидел рядом с ней на диване, смотрел скучные сериалы, ел арбуз. А она постоянно потела и все время вязала какую-то толстую кофту. Ее тревога утихала, только если руки были чем-то заняты. Я не сразу понял, что у тети наступил климакс, он утилизировал все лишние желания в ее теле. Так в старую печку перед списанием забрасывают весь оставшийся уголь, и она обжигает жаром. Климакс у тети начался сразу после бабушкиной смерти, как будто место старухи в нашей семье не могло оставаться вакантным. Тетя унаследовала бабушкин строптивый характер, подозрительность и обостренное чувство собственности. И еще желание оставаться в этом старом доме. Возрасту бесполезно сопротивляться, но мне все равно кажется, что климакс обошелся с тетей слишком жестоко. Потому что она, скорее всего, была девственницей. Получается, всю жизнь ее кровь проливалась зря.

Сяо Кэ больше не спрашивала, уеду ли я вместе с ней. С некоторых пор она знала ответ, но все равно ждала от меня каких-то слов. Ходила кругами по комнате и, не замечая крови, расчесывала укус на руке. Я сидел в углу, пил пиво и думал: вот захмелею еще немного, может, тогда получится все ей рассказать. Но так и не смог заставить себя начать. Я долго молчал об этом, и история успела покрыться ржавчиной. На улице шел ливень, квартира наполнялась запахом разлуки. Стоя у окна, Сяо Кэ вдруг высунулась наружу, как голубь, который хочет вылететь из этого безлюдного дома.

В последний на моей памяти раз, когда мы занимались любовью, она крепко вцепилась в меня, вонзила ногти прямо в кожу. Полог упал и обвинил наши тела. Сяо Кэ закрыла им лицо и стала похожа на невесту.

– Женишься на мне? – серьезно спросила она.

– Ага.

Она рассмеялась, будто услышала самый уморительный на свете анекдот, и хохотала, пока не потекли слезы.

Сяо Кэ не попрощалась со мной. О ее уходе я узнал от тети. Утром та пошла выбрасывать мусор и увидела, как какая-то девушка спускается по лестнице.

– Я искала знакомого, но он уже съехал, – объяснила она тете и покатила чемодан дальше.

Часть II

Ли Цзяци

Чувствуешь, как тут холодно? От вина должно стать теплее, постепенно согреемся. Я рада, что ты тоже любишь выпить. Не сговариваясь, мы выбрали одинаковое хобби – значит ли это, что мы всегда оставались на одной волне? Правда, я не особо умею пить, наверняка быстро опьянею. Но не бойся, я не стану городить вздор. Скорее, наоборот, вино прочистит мне голову. У тебя такое бывало? Выпьешь, и воспоминания становятся четче, в голове будто загорается лампочка, освещая все темные, покрытые пылью углы.

Иногда я задумываюсь: как получилось, что из одной семьи мы с Пэйсюань вышли такими разными? На самом деле эта разница проявилась еще в наших отцах. Дядя (отец Пэйсюань) с детства боготворил дедушку и советовался с ним во всех важных делах. Дедушка говорил, что никогда не навязывает детям свою волю, только высказывает мнение. Но мнения его были столь же авторитетны, что и рецепты, которые он выписывал больным. А мой папа ни во что не ставил дедушкин авторитет и всегда противился его воле. В нашей семье он был отступником.

С самого раннего детства я чувствовала противостояние между папой и дедушкой. Если они садились вместе за стол, воздух делался тугим и плотным, будто вот-вот взорвется. Между собой они почти не говорили, в крайнем случае общались через бабушку. Бабушка, сказав что-нибудь папе, часто добавляла: это мнение отца. А папа, обращаясь к бабушке, порой начинал фразу словами: “Передай ему...” – то есть дедушке. Тогда я думала, что они не ладят, потому что папа женился на маме. Это действительно было одной из причин, но позже я поняла, что папа женился на маме как раз для того, чтобы поссориться с дедушкой.

Когда мои родители только познакомились, мама была деревенской девушкой с румянцем во всю щеку, а ее семья поколениями жила в деревушке под названием Шибали – Восемнадцатая верста. Если бы не “перевоспитание”, мои родители никогда бы не встретились. Иными словами, я родилась благодаря лозунгу “Образованная молодежь едет в деревню”¹². Когда своим появлением на свет ты обязан какому-то лозунгу, трудно отделаться от ощущения случайности собственной жизни. Наверное, я должна радоваться, ведь куда больше детей в нашей стране из-за очередного лозунга вообще не смогли родиться.

В деревне с “обширным полем деятельности, где каждый может найти себе применение”¹³ мой папа “применения” себе так и не нашел и закрутил роман с моей мамой. К тому времени он уже плохо ладил с дедушкой, поэтому решил порвать с семьей и навсегда остаться в деревне. У маминого отца было большое хозяйство, хватало и работников, и земли, так что от лишнего рта они бы не обеднели, а лишние руки им не требовались. К тому же мама считалась в деревне первой красавицей. Она была хороша тихой захолустной красотой, словно сладкая студеная вода из журчащего в горах родника. И папа одно время был ей очарован. Он любил красивых женщин, хотя я долго не желала это признать, мне казалось, что любовь к красавицам – черта поверхностного человека. А еще мама была хорошей работницей, умела ходить и за свиньями, и за курами. Жаль, она не могла увезти эти достоинства с собой в город – вместе с ней из деревни уехала только ее красота. Красота, в отличие от деревенской прописки, универсальна. И благодаря этой универсальной красоте люди быстро забывали о мамином сельском проис-

¹² Лозунг, провозглашенный Мао Цзэдуном в декабре 1968 года: “Необходимо, чтобы образованная молодежь шла в деревню перевоспитываться у крестьян-бедняков и низших слоев середняков”.

¹³ Слова из речи Мао Цзэдуна, сказанной им в 1955 году. Целиком фраза звучит так: “Деревня – это обширное поле деятельности, где каждый может найти себе применение”.

хождении, о том, что она не училась в школе и почти не умеет ни читать, ни писать. А еще красота помогала не замечать ее несообразности и одиночества. Когда я поняла, что мама одинока, она уже двадцать лет жила в городе и от ее красоты давно ничего не осталось.

Папа обещал, что в город больше не вернется, но это было сказано в сердцах. Очень скоро ему, как и остальной городской молодежи, стала невыносима суровая и унылая сельская жизнь. Когда в городе начали набирать рабочих, папа вернулся. А после заявил дедушке, что женится на моей маме. Только тут семья и узнала о мамином существовании.

Дедушка был решительно против этого брака, он хотел, чтобы папа женился на дочери его сослуживца, профессора Линь. Барышня Линь занималась музыкой, прекрасно играла на скрипке, а еще обожала моего папу, даже приносила контрамарки, чтобы пригласить его на концерт, который давал их оркестр. Правда, мама потом рассказывала, что ее соперница была полной, низенькой, смуглой и носила очки с толстыми стеклами. В детстве я любила взвешивать плюсы и минусы брака с барышней Линь: я была бы смуглой и низкорослой, с малых лет носила бы очки, зато научилась бы играть на скрипке, и на новогодних утренниках, где каждый должен исполнить какой-нибудь номер, мне больше не пришлось бы ставить очередную несмешную сценку с тобой и Большим Бинем. Я бы выходила на середину затихшего класса, прикладывала скрипку к плечу и играла бы невыразимо печальную мелодию из “Влюбленных-бабочек”¹⁴.

Дедушка говорил, что папа обязательно пожалеет, если женится на маме. Но папа велел дедушке не беспокоиться: если пожалею, сам разберусь. И однажды снежным утром родители пошли и расписались. Так они стали мужем и женой. Не было ни свадьбы, ни брачных покоев, ни подарков семье невесты. Жили молодожены в доме папиного друга. Убогая клетушка в десять квадратных метров стала для мамы первой городской квартирой. Спустя неделю бабушка и дядя приехали на рейсовом автобусе из деревни в Цзинань, привезли пару живых куриц и мешок новогоднего печенья – хотели познакомиться со сватами, но папа их не пустил. В итоге родственники так ни разу и не увиделись.

После заключения брака мои родители какое-то время все-таки жили счастливо. Папа дорожил этой маленькой семьей, ведь им пришлось преодолеть столько препятствий, чтобы пожениться. А маме больше не нужно было ходить за свиньями и курами, жать пшеницу под палящим солнцем, и незнакомая городская жизнь была ей в диковинку. Папа научил ее кататься на своем стареньком велосипеде “Цзиньши” с 28-дюймовыми колесами, и однажды в воскресенье она неуверенно выкатила на улицу, доехала до универмага и купила первый в своей жизни тюбик крема для лица. К тому времени мама уже лишилась яркого румянца, но, судя по фотографиям, все равно оставалась красавицей. Потом папа нашел ей работу нянечкой в детском саду при жилкомитете¹⁵. Маме эта работа нравилась, она целыми днями пела, танцевала, играла с малышами, а когда они засыпали, потихоньку складывала остатки еды в судок и приносила домой на ужин.

Папа тогда работал шофером в продовольственном управлении. Утром он на велосипеде уезжал в бригаду, переодевался в спецодежду, натягивал белые трикотажные перчатки, заводил свой грузовик “Цзефан” и колесил по городу с кузовом, груженным мукой и рисом. Днем в свободную минутку он иногда заезжал на работу к маме и брал ее прокатиться по городу. В 1976 году такие грузовики считались еще редкостью, во всем Цзинане их было не больше двадцати. Наверное, когда мама стояла в переулке, высматривая папин грузовик, а потом запрыгивала в кабину под восхищенными взглядами прохожих, то верила, что нет на свете женщины счастливее. Иногда папа работал допоздна, не успевал отогнать грузовик в бригаду и возвра-

¹⁴ Концерт для скрипки с оркестром, написанный в 1959 году на сюжет старинной китайской легенды.

¹⁵ Жилищный (квартирный) комитет – низовой уровень административной системы в китайских городах, подчиняется районной администрации.

щался на нем домой. Тогда мама, не помня себя от радости, хватала веник с мешком, неслась на улицу и при тусклом свете фонаря собирала в мешок тонюсенький слой риса, просыпавшегося на доски в кузове. Потом прибежала домой и, подкидывая увесистый мешок, сообщала папе, что этого риса им хватит на целую неделю. Папа улыбался – наверное, в такие минуты она казалась ему очень милой. В ту пору он еще восхищался ее бережливостью.

Все это мама рассказала мне после того, как папа потребовал развод. Тогда она на несколько дней погрузилась в воспоминания и вдруг перестала быть той грубой и неотесанной деревенщиной, какой была обычно, горе возвысило ее над собственным разумом и превратило в женщину, которая знает, что такое настоящая любовь. Мама редко нравилась мне так, как в те дни, впервые я хотела слушать ее рассказы. Мне нравились все люди, понимавшие что-нибудь про любовь.

В первый год папиной женитьбы они с дедушкой совсем не общались. Но как-то раз в гости к папе пожаловал дядя и сказал, что дедушка хочет увидаться. Папа неохотно согласился. Дома дедушка сказал ему, что с этого года правительство восстановило единый экзамен для поступления в высшие учебные заведения и папе обязательно нужно его сдать. Но папа ответил, что доволен своей нынешней жизнью и не нуждается в чужих указаниях. Так, не успев обменяться и парой слов, они снова рассорились. Но чтобы убедить папу, бабушка в первый и последний раз пришла на поклон к маме. Потом мама всю жизнь жалела, что согласилась с бабушкой и помогла им уговорить папу сдать экзамены. Ей не хватило ума представить, как сильно способен изменить человека университет.

Трудно сказать, какую роль сыграли мамины уговоры, но в конце концов папа все-таки сдал экзамены. Наверное, он и сам этого хотел, но чуть было не отказался, просто чтобы пойти наперекор дедушке. Правда, он подал документы не на медицинский факультет, как того хотел дедушка, а на отделение китайской словесности. Сначала он думал поехать учиться в Пекин, но остался в Цзинане. Ведь в Пекине у него не было жилья, чтобы поселить маму, да и как бы он нашел ей работу? Тогда мама уже превратилась в гирию на его ногах.

Папа всю неделю жил в общежитии, домой возвращался только на выходные. С понедельника по субботу он читал Толстого, обсуждал поэзию и философию с товарищами и преподавателями, ходил на кинопоказы, которые устраивали в университетском актовом зале, а в воскресенье привозил домой сумку грязной одежды, шел в рисовую лавку, тащил оттуда пятьдесят цзиней¹⁶ муки, складывал угольные брикеты под навес от дождя, чистил забитый дымоход в печке. Дома часто отключался свет, и папа должен был выходить на улицу и менять предохранители, а мама продолжала лепить пельмени в темноте. Она не знала, как еще показать ему свою любовь, и каждое воскресенье принималась лепить пельмени. Такой была типичная папина неделя: за исполненным романтики туловищем тянулся прозаичный хвост.

В то время папины стихи печатались в журналах, их тайком декламировали друг другу однокурсники. Когда он шел по кампусу, его всегда провожало несколько тихих взглядов. Ребенком я однажды нашла старый журнал с папиными стихами. Стихи были непонятные, но очень красивые и романтические. В них чувствовалась любовь, но она была точно не к маме. По крайней мере, я не могла связать эти стихи с мамой. Потом папа и еще несколько студентов основали поэтическое общество, и он стал первым его председателем. Они часто собирались вместе, читали стихи, обсуждали их, по выходным он почти перестал возвращаться домой. Его поэтическое общество пользовалось большим влиянием, в дальнейшем все его основатели стали известными поэтами. Кроме папы. Хотя говорили, что он был там самым талантливым.

Почему папа бросил писать стихи? Загадка. Много лет спустя я познакомилась с папиным однокурсником, его звали Инь Чжэн. По словам Инь Чжэна, после выпуска они с папой остались в университете преподавать и учиться в магистратуре. И на первом курсе магистратуры

¹⁶ Цзинь – мера веса, около 500 г.

туры папа вдруг перестал писать. Стихи больше не получались, он будто утратил этот дар. Папа стал сам не свой, не спал ночами, для него это было черное время. И в тот же год в его жизни произошла еще одна важная перемена – родилась я. Но никто не знает, есть ли между этими событиями тайная связь.

Тогда папа к маме уже совершенно охладел. Наша семья переехала в преподавательское общежитие, у родителей наконец-то появился свой угол, но папа редко бывал дома, предпочитая коротать время у себя в кабинете. Может быть, он винил маму в том, что разучился писать, а может, просто хотел пережить этот трудный период в одиночку.

У одного из отцовских товарищей судьба складывалась похоже: он женился на деревенской девушке, когда был в селе на перевоспитании, потом вернулся в город и поступил в университет. Вскоре после выпуска он развелся и ушел к бывшей однокурснице. Папа разводиться не стал, и у него не было романов с девушками из университета, хотя я слышала, что он тогда много кому нравился. Думаю, в браке его удерживали не чувства к маме, а желание поступать наперекор дедушке.

И все же папа прилагал некоторые усилия, чтобы сократить пропасть, растущую между ним и мамой. Устроил ее в вечернюю школу, чтобы она сдала специальный экзамен для лиц на самообучении. Мама много лет с переборами посещала вечернюю школу, но ни одного экзамена сдать так и не смогла. Только после моего рождения она бросила учебу и наконец-то вздохнула свободно. Но теперь мама решила, что я – ее спасение, талисман, который принесет ей счастье. Какая досадная ошибка. Когда я пошла в начальную школу, мама иногда брала полистать мои новенькие учебники и говорила, что даже спустя столько лет все равно видит кошмары про экзамены. А еще про аборты. Пока папа учился в университете, она сделала два аборта, чтобы он мог спокойно закончить курс. Я ей очень сочувствовала, мне казалось, что любой из тех детей был бы лучше меня. Может быть, в двух оплодотворенных яйцеклетках, которые из нее выскребли, оставалась еще хоть капля папиной любви.

С самого раннего детства я понимала, что папа маму не любит. Что они живут вместе просто потому, что женаты. Я догадывалась, что брак – это нечто вроде нашей школьной формы: сидит плохо, а все равно надо носить. Подрастая, я научилась оценивать маму папиными глазами, узнавать деревенские приметы, которые из нее было не вытравить, – порой мама забывала почистить зубы, умывшись, никогда не вытирала лицо полотенцем, плохо разбиралась в посуде и могла налить лимонад в пиалу, а тушеное мясо вывалить в тазик для умывания. Ей не нравилось зажигать свет, ей вообще не нужно было столько света, сколько обычно жгут в городе. И ела она тоже по-другому: иногда сметала еду, даже не отходя от плиты, тут же споласкивала чашку, и вид у нее был такой, будто она сбросила с плеч тяжелое бремя. Еще маму отличала чрезмерная бережливость. Она складывала в мешок сеточки, в каких продают яблоки, чтобы потом мыть ими посуду или чистить плитку, или собирала воду, в которой мыла кастрюли и сковородки, и ополаскивала ей унитаз. Я знала, что папу от этого воротит, хотя он давно ничего не говорил. Жизнь кишела бытовыми мелочами, они полчищем термитов обгладывали остатки папиных чувств к маме. К тому времени, как я родилась, никаких чувств уже не осталось.

В моих детских воспоминаниях дома всегда царит тишина. Разговаривают только неодушевленные предметы: телевизор, стиральная машина, газовая плита. Потом дома появится телефон, и я буду постоянно ждать, что кто-нибудь позвонит папе, – тогда я услышу его голос, а может быть, даже смех. Я восхищалась людьми на том конце провода, они могли развеселить папу, а ни я, ни мама этого не умели. Ты вряд ли согласишься, но в детстве моим любимым сериалом были “Проблемы роста”. Я завидовала детям из сериала, но не из-за игрушек или большой верной собаки, не из-за бесконечных вечеринок, не из-за того, что каждые каникулы они проводили на островах, нежась в темных очках у лазурного океана. Я завидовала одному: что у их родителей есть столько тем для разговоров. Когда их мама шла к раковине вымыть посуду,

папа вставал рядом и заводил с ней беседу. Сначала они разговаривали, а потом целовались. Поцелуй длился долго, в самый раз, чтобы у меня успели закапать слезы. Я твердила себе, что это понарошку, что только в кино муж может так долго говорить с женой.

Казалось, между моими родителями никогда и не возникало полноценного диалога. Правда, мама очень любила поговорить, но папа мгновенно пресекал все ее попытки завязать беседу.

- Ты не понимаешь.
- Сколько можно вопросов.
- Оставь меня хоть ненадолго в покое!

Эти три фразы он говорил ей чаще всего. В ответ мама только криво улыбалась и вставала задернуть занавески или же, вздохнув, брала маникюрные щипчики и принималась стричь ногти. Я ни разу не видела, чтобы она обиделась или рассердилась. Мамино достоинство пряталось в таком укромном месте, которое ей и самой было уже не отыскать. Она вечно ходила с равнодушным видом, убивавшим всякое к ней сочувствие. Мне никогда не было ее жалко.

Мало того, я ее ненавидела. Мне казалось, что все мои несчастья из-за нее. Что папа не любит меня, потому что не любит ее. И я всеми силами старалась отмежеваться от мамы, придиралась к ее грубоватым ухваткам, исправляла ошибки в ее речи, высмеивала ее деревенские вкусы. Так я хотела завоевать папину любовь, но мало чего добилась. Папа никогда не обнимал меня и тем более не целовал. Иногда по утрам я замечала щетину на его щеках и представляла, каково это – прижаться к ней лицом. Папа никогда не пытался ни рассмешить меня, ни огорчить, между нами была пустота. Мы с ним ни разу не играли. Наверное, ему и в голову не приходило, что мне нужны игры, как в свое время это не приходило в голову его отцу. И он, и дедушка относились к детям так, будто это взрослые, в их словаре вообще не было понятия “детство”.

Иногда папа уезжал в командировки, но ни разу не брал нас с собой. Если мы куда и ездили вместе, то только в мамину родную деревню. Он не водил меня ни в парк аттракционов, ни в кино. Однажды всей семьей мы пошли на праздник Юаньсяо¹⁷, но я была слишком низенькой, чтобы рассмотреть разноцветные фонарики, вместо них я видела только спешащие куда-то ноги. Папа не поднял меня повыше, как это делали другие отцы, не дал потрогать подвешенные к фонарикам цветные ленты с шарадами или достать из вертушки палочку с засахаренными фруктами. Он не знал, как зовут моих друзей, не знал, что я хорошо пишу сочинения и терпеть не могу решать задачки про цыплят и кроликов в клетке¹⁸.

Казалось, он верил, будто я существую в иной среде, как рыба в аквариуме, хозяин которого даже не удосуживается взглянуть за стекло. Наверное, я была для него чем-то вроде предмета интерьера. Редкие разговоры между нами случались, только когда я просила у него мелочь на карманные расходы. Мне нравилось просить у него мелочь, он был гораздо щедрее мамы. И маме это нравилось, так ей не нужно было лишний раз залезать в хозяйственные деньги. Я всегда подробно расписывала ему, что куплю: блокнот в твердой обложке с замком-сердечком из состаренной меди, обложка бывает двух цветов – синего и голубого, как небо днем и ночью, я куплю тот, что с синей обложкой, потому что больше люблю ночь. Набор акварельных карандашей тридцати шести цветов: сбрызнешь рисунок водой, и краски расплываются абстрактными пятнами, такими карандашами лучше всего рисовать облака или туман в лесу. Коробку конфет с ликерной начинкой – поделюсь с подружкой из класса, в прошлый раз она меня угощала. Расписывая ему свои будущие покупки, я чувствовала, что показываю какую-то часть себя, – может быть, папа полюбит меня, если узнает чуть лучше? В итоге я купила

¹⁷ Праздник Юаньсяо (праздник фонарей) – традиционный китайский праздник, отмечается пятнадцатого числа первого лунного месяца.

¹⁸ Задача из древнего математического трактата “Сунь-цзы суань цзин”, до сих пор популярная в Китае: “Всего у животных в клетке тридцать пять голов и девяносто четыре ноги. Сколько там кроликов и сколько цыплят?”

блокнот с голубой обложкой, синие уже разобрали. Он много дней пролежал на столе в гостиной, папа мог заметить его всякий раз, когда брал со стола газету, но он ни разу не поднял на меня глаза, не спросил: почему же ты не купила синий?

Да, ты скажешь, что взрослые всегда пропускают детскую болтовню мимо ушей, никто бы не запомнил, какого цвета я хочу блокнот, ведь это просто мелочь. Но забудь о такой мелочи мама, я бы нисколько не расстроилась. А к папе я относилась иначе, моя любовь к нему была такой чуткой и нежной, а ее постоянно ранили.

Папа и мама в нашей семье будто принадлежали к двум разным сословиям, он царил наверху и обладал высочайшей властью, его любовь было невозможно вытребовать, она казалась милостью. Я же необычайно жаждала этой любви.

Я знала, что его любимое время суток – ночь, короткие часы, пока мы с мамой спим. Это время было только его. Однажды я встала ночью в туалет и увидела папу на диване перед телевизором, рядом стояла банка пива. Он лежал на диване, закинув ноги на подлокотник, щеки горели румянцем. В комнате висел пар: папа только что принял ванну, переоделся в белую пижаму и походил на моллюска – на моллюска, который наконец-то выполз из своего глухого панциря. Он увидел меня в дверях и тихо сказал: иди спать. Без панциря его голос казался влажным и очень нежным.

Папа редко брал нас с мамой на посиделки с сослуживцами и однокашниками. Хотя мамины выходы в свет всегда вызывали восторг у его друзей: вместе мои родители удивительно соответствовали старинному образу “таланта и красавицы”¹⁹, идеальной влюбленной пары, и, разумеется, люди считали, что они очень счастливы. Но папе не хотелось притворяться и разыгрывать перед публикой семейное счастье. Кроме тех случаев, когда мы шли в гости к бабушке.

В детстве перед каждым Новым годом²⁰ мама вела меня в магазин, чтобы купить новый наряд, в котором я пойду к бабушке встречать праздник. Как-то раз мне приглянулся болотного цвета свитер с большим карманом на животе, но мама сказала, что на прошлый Новый год я уже надевала зеленый свитер и они могут подумать, что это тот самый, старый.

В канун праздника я начинала наряжаться еще с обеда. Новая одежда, новые туфельки, на макушке новый ободок для волос, а на затылке – новая заколка. Больше всего мне запомнилась заколка с блестящим атласным бантом, напоминавшим бабочку; с толстых бабочкиных крыльев свисало множество бусинок, и когда я шла, бусинки покачивались, как у принцессы из дворца. Любимая моя заколка была красная в темно-зеленую клетку, но мама не разрешала надевать ее на праздники: заколка казалась ей недостаточно большой. Вместо нее она повязывала мне на затылок бант величиной с пятерню, как будто с огромным бантом я буду выглядеть счастливее.

Нарядившись, мы вставали перед зеркалом, и мама, не скрывая удовольствия, говорила:

– Теперь-то они лопнут от злости.

– Почему? – спрашивала я.

– Им глаза режет, что мы живем хорошо. Они думают, раз папа на мне женился, то вся жизнь у него насмарку.

Иными словами, следовало продемонстрировать, что живем мы просто замечательно. Папа не говорил прямо, однако я чувствовала, что он поддерживает эту идею. Но как должна выглядеть замечательная жизнь? По дороге к бабушке я всегда очень робела, не знала, как себя вести, но стоило мне переступить порог их дома, и все получалось само собой. Я смахивала с маминой кофты следы муки от пельменей, тащила папу на балкон, чтобы вместе полюбоваться салютом, а в полночь, когда на улице гремели петарды, зажимала уши и прятала голову у него

¹⁹ Талант и красавица – образ из средневековой китайской литературы. Проза о “талантах и красавицах” – любовные новеллы, описывающие взаимоотношения одаренного студента и его прекрасной спутницы жизни.

²⁰ Здесь и далее имеется в виду Новый год по лунному календарю, или Чуньцзе – Праздник весны.

на груди. Мама просила папу помочь ей закатать рукава или снимала с пальца кольцо и велела ему подержать, пока она моет посуду, мимоходом объясняя тете и бабушке, что это кольцо – последний его подарок. Папа мало участвовал в семейном спектакле, только молча подыгрывал нам с мамой. Впрочем, когда мы садились за стол, он брал своими палочками кусочки с общего блюда и подкладывал на мамину тарелку, и для бабушки это было равноценно оскорблению: в их доме на каждом блюде с едой обязательно лежали общие палочки.

Я знала, что все это постановка. Я всего лишь играла в спектакле, но при этом чувствовала себя по-настоящему счастливой. Как бывает счастлив артист, перевоплощающийся на сцене. Я стала с нетерпением ждать Нового года, представлять, как мы наденем костюмы, выйдем на сцену и исполним свой номер на праздничном концерте.

В ту новогоднюю ночь, когда мне исполнилось семь, мы всей семьей сели за стол, и бабушка вдруг спросила, как дела у мамы с работой.

– Я велел ей уволиться, – ответил папа. – Нянечек в детском саду не хватает, им приходится и за детьми смотреть, и порядок поддерживать, она очень устает.

Я впервые услышала, как папа врет. Мама не увольнялась с работы, ее сократили, потому что детский сад нанял новых воспитательниц из педучилища. Тогда дядя с тетей еще не эмигрировали, тетя тоже преподавала в медуниверситете и сказала, что может спросить у знакомых, подыскать для мамы местечко, например, в отделе материально-технического обеспечения. Папа покачал головой и сказал, что там работа только для мужчин.

– Есть и для женщин, – ответила тетя. – В столовой или в студенческом общежитии.

– Не надо, – сказал папа. – Пусть сидит дома, отдыхает.

Мы доели пельмени, бабушка достала два красных конверта и вручила нам с Пэйсюань. Взрослые остались перед телевизором смотреть новогодний концерт, а мы пошли в другую комнату проверять конверты. От новеньких банкнот шел сладковатый аромат, который так и хотелось вдыхать. По нарисованным на них лицам еще не прошла ни одна складка, они выглядели чистыми и безгрешными. Мы пересчитали розовые купюры, и оказалось, что у меня их пять, а у Пэйсюань всего три. Намного меньше, бабушка едва ли могла так ошибиться. Я побежала к папе.

Потемнев лицом, он взглянул на бабушку. Та положила недочищенное яблоко на стол и принялась торопливо объяснять, что добавила в мой конверт немного денег, ведь мама сейчас не работает. В комнате наступила тишина, которую нарушали только волны хохота и аплодисментов из телевизора. Скосив глаза, я посмотрела на экран, два человека в суньятсеновках²¹ разыгрывали юмористическую сценку. Один, не переводя дух, залпом перечислял названия всевозможных блюд. Мне снова захотелось есть.

Я опомнилась от громкого стука, испуганно оглянулась – папа тяжело опустил чашку на стол.

– Ты что надумал? – уставился на него дедушка.

Папа смотрел на дедушку в упор. Я впервые видела, чтобы их глаза встретились. Обычно они старались отвести взгляд подальше друг от друга. Папа вырвал у меня из рук конверт, швырнул его на стол и холодно улыбнулся:

– Большое спасибо за заботу, но семью прокормить я еще в состоянии. – Он встал и скомандовал нам с мамой: – Одевайтесь, идем.

Мы спустились на улицу и пошли в другой конец микрорайона: чтобы велосипеды не украли, родители оставили их на стоянке. Небо смотрело на нас угрюмо, снега не было, но холод пробирал до костей. Я шла за родителями и, подрагивая, застегивала пуговицы пальто. Было почти двенадцать. С балконов уже летели огненные языки фейерверков. У дороги кто-то зажег свернутую спиралью ленту из петард и, заткнув уши, отбежал в сторону. Мы пере-

²¹ Суньятсеновка – обиходное название темно-синего френча.

шли затянутую дымом дорогу, над головами у нас разрывались гроздья фейерверков, окрашивая небо то зеленым, то красным. Старик, охранявший стоянку, сидел, засунув руки в рукава ватной куртки, и слушал новогодний концерт по радио. Та сценка давно закончилась, теперь ведущая с дрожью в голосе поздравляла бойцов, защищающих рубежи нашей родины.

– Даже концерт не досмотрели? – спросил нас сторож.

Мама промычала что-то в ответ. Папа оседлал свой велосипед, мама усадила меня к нему на багажник, запрыгнула на второй велосипед, и, раскатывая по асфальту красные обертки от петард, мы выехали на улицу.

Тогда окрестности Наньюаня оставались еще очень пустынными, жилым был только этот микрорайон, выстроенный для сотрудников университета, и на улицах мы не встретили ни души. Задрав голову, я могла смутно различить огни салюта, они были уже далеко, словно на другом небе. Два велосипеда катили по пустой безмолвной дороге, папа ехал быстро, и маме приходилось со всей мочи крутить педали, чтобы не отстать. Ветер дул прямо в лицо, мама повернулась к папе и сказала: “Зачем они так с нами!” В ее плаксивом голосе слышался вызов. Папа ничего не ответил. А я вдруг громко зарыдала. Родители решили, что я заплакала в ответ на мамины слова, сокрушаясь из-за оскорбления, которое нанесли нашей семье.

Я и правда сокрушалась. Я винила себя. Если б я рассказала про деньги не сразу, а чуть позже, все вышло бы не так скверно. Чуть позже, самую малость, нужно было просто дождаться двенадцати. Ведь важная часть спектакля осталась не сыграна. Когда часы пробили полночь и петарды затрещали во всю мощь, я должна была зажать уши и спрятать голову у папы на груди. Понимаешь, это была единственная минута за весь вечер, когда я забывала о том, что играю.

Чэн Гун

Ты, наверное, помнишь, какими пустынными были окрестности Наньюаня во времена нашего детства. Медуниверситет тогда считался восточной окраиной города, дальше стояла только электростанция, а за ней уже начинались пшеничные поля и деревня. Деревенские приходили к кампусу торговать яблоками и земляным орехом. А один мужчина приносил в столовую мешочек домашних яиц, чтобы выменять их у отца Большого Биня, который там работал, на пару ведер помоев. Тогда в округе не было ни высоток, ни тем более рынка электроники. Только две пузатые дымовые трубы электростанции, их тогда еще не загораживали высотки, и казалось, что трубы совсем рядом. В солнечные дни они выпускали косые струи дыма, а когда город накрывало пыльной бурей, ливнем или метелью, трубы превращались в жуткие ноги шагающего к нам инопланетянина. Эта картина всегда вызывала у меня ассоциации с концом света.

Тогда университет занимал мало места, напротив единственного кампуса был выстроен микрорайон для сотрудников, который мы вслед за взрослыми называли Наньюанем. И моя бабушка, и твой дед жили в Наньюане, только он в восточном секторе, а она в западном, секторы разделялись столовой, стоянкой для велосипедов и маленькой рощицей. По утрам мы с тобой встречались в этой роще и вместе шли в школу. Школа для детей сотрудников находилась в юго-западном углу Наньюаня, и я жил к ней ближе всех.

Папа отправил меня в Наньюань, когда мне было шесть, спустя два года тебя привезла сюда твоя мама. Ты была недовольна переездом и первое время ходила очень угрюмой. Не интересовалась, где находится почта или книжный магазин, отказывалась говорить с хозяйкой местной лавочки и называть ей свое имя, а когда мы всем классом поехали на загородную прогулку, ты спряталась за искусственной горкой, только чтобы не попасть на общую фотографию. Ты говорила нам, что приехала сюда ненадолго и скоро папа тебя заберет. Глядя на тебя, я вспоминал, каким сам был два года назад. И вместе с тобой я снова стал фантазировать, представлять, что меня увезут отсюда со дня на день. Вся разница в том, что ты уехала из Наньюаня три года спустя, а я прожил здесь еще почти двадцать пять лет. Когда я пришел работать в «Фармацевтику Уфу», Большой Бинь, представляя меня сотрудникам, упомянул, что мы с ним оба выросли в Наньюане. Я поправил его, сказав, что приехал в Наньюань, когда мне исполнилось шесть. Большой Бинь усмехнулся: какая разница? Решил, я придираюсь к мелочам. Ему не понять, как важны для меня те шесть лет. Пусть вся память о них сотрется, я буду хранить даже пустое место, которое от нее останется. Кажется, я никогда не рассказывал тебе о той жизни. Почему-то все самое важное я от тебя утаил.

Если верить гадателю, отсчет судьбы у меня начинается с шести лет, а через каждые десять лет после отсчета судьба делает крутой поворот. Старики говорят, что до отсчета жизнь человека – перышко, улетит с любым ветерком. По-настоящему она начинается только после отсчета судьбы, это все равно что дереву пустить корни в землю. А я бы и дальше жил без корней. По мне, так этот «отсчет» больше похож на взнуздывание коня: судьба хватается за вожжи, и отныне человек вынужден идти вперед по выбранной ею тропе. Я всегда с грустью вспоминаю первые шесть лет своей жизни – тогда судьба меня еще не отыскала.

Кроме Сяо Гуна, у мамы никого больше нет. И у Сяо Гуна никого нет, кроме мамы. Когда я был маленьким, мама часто повторяла эти слова, потом прижимала меня к груди, нежно гладила затылок у меня на затылке и спрашивала: *Ведь правда?* Дождавшись моего кивка, она облегченно вздыхала. Конечно, правда – считал я, тут и спрашивать нечего. Но мама не уставала повторять вопрос снова и снова.

Тогда я понятия не имел, что живу в огороженном мамой замкнутом, узком пространстве, мне казалось, что мир и правда такой маленький. Я не ходил в детский сад, никогда не

играл на улице, у мамы не было друзей, она не навещала родных, даже с соседями не общалась, только здоровалась, если встречала их во дворе. Людей, которых я знал в лицо, можно было пересчитать по пальцам. Больше всего времени мы с мамой проводили дома, никуда не выходя. Наша квартира состояла из двух крошечных комнаток – тридцать квадратных метров, забитых вещами. Маме нравилось покупать что-нибудь в дом, и хотя жизнь у нее была тяжелая, с этой маленькой радостью она не хотела расстаться. Музыкальная шкатулка с игрушечной каруселью, кукла под зонтиком (их достала бывшая мамина одноклассница, которая работала на импортной оптовой базе), бракованная ваза для цветов, купленная по дешевке на распродаже у стекольного завода, старый немой радиоприемник, найденный на блошином рынке... Как выющая гнездо ласточка, мама что ни день приносила в клювике новую покупку. Дома эти безделушки стояли на самых видных местах, а нужные вещи вроде ботинок, зонтика или таза для умывания мама ссылала подальше за их невзрачность. Задыхаясь, они толпились под кроватью, иногда задирали простыни, чтобы высунуть голову и глотнуть немного воздуха. Время не проникало в запаянную консервную банку нашей квартиры, и дни текли необычайно медленно.

Кроме безделушек для дома, мама любила покупать одежду. Правда, многие ее обновки тоже становились безделушками для дома – мама ни разу их не надевала. Но они были великолепны: пальто с изысканным воротником, юбка с необычным подолом, шерстяная кофта, совсем не колючая, такая мягкая, что мне хотелось зарыться в нее лицом. Один розовый свитер, слишком яркий и потому ни разу не надетый, мама отдала мне, и я подкладывал его под голову вместо подушки. Я обожал вдыхать его необычный запах, сладкий аромат подгнивших яблок. У меня тоже были красивые наряды, пусть и не так много, как у мамы. Жилеточка с пряжкой на спине, драповое пальто в крупную красно-черную клетку, а еще белый свитер с вышитым на груди якорьком. К сожалению, ни одна вещь как следует на мне не сидела, почти все оказывались велики, но мама говорила, что пройдет пара лет, и они станут впору. Мы редко выходили из дома, но мама наряжала меня на каждую прогулку. Помню, однажды мы встретили во дворе тетушку Мэйчжэнь, соседку с нижнего этажа. Смерив нас завистливым взглядом, она потянулась пощупать воротник маминого бежевого пальто из драпа: “Ты смотри... Тоже заграничные родственники прислали?” Мама только улыбнулась. Я задрал голову и уставился на нее: ни разу не слышал, чтоб у нас за границей были какие-то родственники.

Днем я чаще всего даже не помнил, что у меня есть еще и папа. Домой он приходил всегда ночью, волоча за собой облако перегара, казалось, из алых прожилок в его глазах вот-вот брызнет кровь. Папа нигде не работал, но был вечно занят – говорил, что занимается перевозками, и целыми днями болтался где-то без дела. Много пил и играл – вероятно, карты и алкоголь помогали ему выпустить лишнюю энергию. А если и этот способ отказывал, он бил маму.

С самого раннего детства я постоянно видел, как он избивает маму, а еще видел, что она давно к этому привыкла. Маме хотелось одного: чтобы я успел заснуть до того, как все начнется. Если же я не спал или просыпался от шума, она надеялась, что я притворюсь спящим, не буду плакать или кричать, тогда все быстрее закончится. Я так и делал – смирно лежал в темноте, стараясь не шевелиться и не дышать. В награду или в утешение, когда расправа завершалась, мама возвращалась в мою постель и давала подержаться за грудь, пока я засыпал. В налитых лунным светом сумерках маленькие конусы ее груди напоминали белоснежный алтарь. Я припадал к нему, и все кошмары обходили меня стороной.

Но иногда она не возвращалась. В промежутках между снами я вылезал из постели и подходил к двери в другую комнату. Мама с папой лежали на большой кровати. И бурая папина лапа скрывала под собой мой алтарь.

Проснувшись утром, мама возвращалась в нашу комнату, садилась у изголовья кровати и, обхватив себя за плечи, бездумно смотрела в одну точку. Я разглядывал волдыри, вздувшиеся на ее руках от затушенных окурков, осторожно к ним прикасался, с наслаждением скользя кон-

чиками пальцев по глянцевым бугоркам. Я пересчитывал синяки на ее теле, один за другим, как облака перед дождем. Новый синяк, старый синяк, они никогда не проходили до конца. Потом я вырос и узнал, что не все женщины могут похвастаться такой кожей – тонкой, почти прозрачной, открывающей глазу темно-голубые прожилки, до того нежной, что ткни ее пальцем – порвется. Мне нравилось смотреть на истерзанную маму, в такие минуты она была необыкновенно красива. И я думал, что она тоже должна нравиться себе после побоев, что для них она и рождена.

У мамы за границей действительно были родственники, но об этом я тоже узнал не скоро. Ее дед по отцовской линии в 1949 году бежал на Тайвань, а оттуда в Америку. Правда, насколько мне известно, с ней он связи не поддерживал. Мамин отец был единственным ребенком в семье, мать растила его одна. Вскоре после маминого рождения ее бабушка и отец умерли от болезни, а следом умерла и мать, погибла от голода в один из “трех горьких годов”²². Девочку взяла на воспитание семья двоюродного дяди, сына младшего брата бежавшего на Тайвань дедушки. Во время “культурной революции” дядину семью целыми днями таскали на митинги из-за родственных связей за границей. И мама росла в постоянном страхе, что однажды они не выдержат и прогонят ее из дома.

Тень страха навсегда осталась в ее глазах, как след убегающего животного в отложениях мелового периода. Ее красота и страх питали друг друга, и, наверное, впервые увидев маму у входа в выставочный павильон, где она работала консультантом, папа почувствовал в ней нечто такое, что ему захотелось безжалостно истребить. А мама слишком долго жила под чужой крышей и мечтала поскорее обзавестись собственной семьей, потому и стала встречаться с этим мужчиной, который так нахально за ней увивался. Она быстро поняла, что он мерзавец, но была уже беременна. И чтобы не доставлять приемной семье новых хлопот, решила выйти за него. Много лет спустя я повел свою девушку в аптеку за таблетками для экстренной контрацепции и вдруг понял, что если бы такие таблетки придумали раньше, мама вообще не стала бы моей мамой.

Папа с детства был мерзавцем. Не окончив начальную школу²³, спутался с компанией хунвэйбинов²⁴ и творил всевозможные зверства. Лихие времена прошли, но папу было уже не остановить, он без всякого повода лез в драку, ни дня не работал, а когда деньги заканчивались, искал, кого бы еще обобрать. Он пырлял людей ножом, сворачивал им носы, но и самому, конечно, доставалось: левую ногу ему сломали, он немного на нее припадал, и от одной его ковыляющей походки на душе становилось тревожно. Папа вырос в Наньюане, здесь все его знали, завидев, прятались, а за глаза называли Бедовым Чэном. Уверен, когда ты приехала в Наньюань, тебе сразу о нем рассказали.

Хоть я и не видел папу в деле, думаю, дрался-то он неважно, просто не умел сдерживать свой гнев. В нем кипела жгучая ненависть, которую было некуда направить, и папа срывал зло на первом встречном. Однажды летом мы вдвоем в кои-то веки выбрались из дома, поехали в Наньюань отмечать бабушкин день рождения. Душным безветренным вечером мы стояли на остановке и ждали автобус. В толпе оказалась одна очень красивая женщина, она была немного моложе мамы, одета в белое платье с большими оборками на воротнике, сзади вырез спускался чуть ниже, открывая шею. Папа стоял с сигаретой в зубах и таращился на эту женщину. Наконец пробормотал:

– Потаскуха!

²² “Три горьких года”, или “три года стихийных бедствий” – принятое в Китае название великого голода 1959–1961 годов.

²³ В начальной школе китайские дети проводят шесть лет, затем три года учатся в средней школе первой ступени, после чего переходят в среднюю школу второй ступени (старшую школу).

²⁴ Хунвэйбины – молодежные революционные отряды.

Он подошел к ней сзади, встал на цыпочки и прищурился, будто пытается рассмотреть иероглифы на маршрутной табличке. Потом, словно между делом, поднял руку и затушил окурок о воротник ее платья. Женщина смотрела на дорогу, откуда должен был приехать автобус, и ничего не заметила, люди вокруг тоже. Только мы с мамой следили глазами за тем, как огонь пожирает оборку на воротнике, заглатывая нитку за ниткой. Мама крепко сжала мою руку, словно боялась, что я закричу. До чего же долго тянулась та минута и каких усилий нам стоило удержаться на месте! Огонь отгрыз кусочек оборки, оставив на его месте черные отпечатки своих зубов. Подошел автобус, женщина шагнула в салон. Мама выпустила мою руку.

Думаю, эта бессмысленная ненависть сидела в его генах. Потому что, оказавшись в Наньюане, я узнал, что моя бабушка здесь даже известней папы. Все помнили, как она заявила в больницу при университете и стала последними словами бранить неизвестно чем насоллившую ей молоденькую медсестру, доведя ее до выкидыша. И едва ли соседи забыли, как она каждый день приходила к порогу старшей медсестры – с плевательницей, полной мусора, поскольку старшая посмела вступить за свою подчиненную. Правда, люди говорили, что бабушка не всегда была такой злобной, характер ее стал портиться после “культурной революции”, когда дедушку изувечили и превратили в “растение”. Но еще они говорили, что до своего превращения дедушка тоже отличался крутым нравом, он тогда был заместителем директора больницы и спуска никому не давал. Так что я до сих пор не знаю, в генах ли дело.

Мама бабушке не нравилась. Вообще-то ей ни одна женщина не смогла бы угодить. Всех людей на свете, за исключением членов семьи, бабушка считала злодеями и врагами. Разумеется, маму своим вниманием она тоже не обошла. Заставляла часами стоять коленями на стиральной доске, охаживала скалкой. Но мама давно к такому привыкла.

По контрасту с бабушкой и папой тетя казалась единственным нормальным человеком в семье. Нраву она была трусливого и робкого, с детства была приучена к роли покорной жертвы, и когда мама взяла на себя часть ее ноши, тетя вздохнула свободнее. Между ними даже завязалась короткая дружба, но держалась эта дружба в основном на тете. Она находила разные способы угодить маме: доставала ей рецепты на лекарства, делилась талонами в баню для сотрудников университета. Тетя благоговела перед мамой из-за ее утонченных манер и изысканной речи, к тому же мама была и очень красивой женщиной. Такая красота похожа на драгоценное ожерелье, и пусть оно никогда не станет твоим, все равно хочется рассмотреть его поближе, представить на себе. Следом неизбежно приходит уныние, и порой, не выдержав, тетя нашептывала бабушке гадости про маму, чем быстро разрушила их дружбу.

Правда, отдалились они друг от друга вовсе не из-за тетиной тяги к подстрекательствам, а из-за меня. С тех пор как я стал что-то понимать, мама намеренно избегала папиных родственников, не позволяя им вторгаться в нашу жизнь. Она мечтала со всех сторон окружить меня красотой. Вскоре после моего рождения тетя пришла к нам в гости и застала маму на балконе – мы с ней грелись на солнышке, а из магнитофона рядом лилась симфоническая музыка. Мама приложила палец к губам, жестом велела тете не шуметь, пока я слушаю симфонию. Смотри, как ему нравится Бетховен, сказала мама. Такой малыш, разве он понимает, ответила тетя. Ей это показалось забавным. Он все понимает, я и сама иногда удивляюсь, улыбнулась мама. Она ставила мне симфоническую музыку, рассказывала сказки, развешивала по стенам репродукции Ван Гога и Шагала. Тогда у нее были грандиозные планы, мама задалась целью вырастить из меня необыкновенного человека. Но ее рвение таяло по мере того, как я подрастал. Беспощадная рутина стирала мамино терпение в порошок.

Я и правда не помню, когда мы с ней впервые пришли в продовольственный магазин “Тайкан”. Как ни допытывался папа, все было бесполезно, может, не дави он на меня так сильно, я бы и вспомнил. Помню только, что мы всегда отправлялись туда после обеда. Мама брала меня за руку, мы пересекали дорогу и заходили в “Тайкан” купить сладостей к чаю. Тот мужчина работал там продавцом, каждый день он имел дело с пирожными и конфетами,

поэтому от него сладко пахло, и слова его были липкими, как леденцы. Я забыл его имя, а может, никогда и не знал. Для меня он был просто лакричным дядюшкой. Когда мы с мамой приходили в магазин, лакричный дядюшка обязательно насыпал мне в карман целую горсть лакричных леденцов в разноцветных фантиках из вошеной бумаги.

– Зачем так много, пары штучек хватит, – весело улыбалась мама. – Иначе мне будет совестно к вам заглядывать.

Спустя пару дней мама снова взяла меня в магазин. Карман мой опять наполнился леденцами. После обеда в магазине было пусто, мама облокотилась на прилавок и болтала о чем-то с лакричным дядюшкой. Прилавок был высокий, выше моей макушки, я стоял под ним и грыз леденцы, а мятые фантики разглаживал и складывал из них человечков. Вдруг я услышал тонкий мамин плач, такой пронзительный, что даже тень у ее ног задрожала. Я потянулся взять маму за руку, но ее руки были уже заняты.

На прощанье лакричный дядюшка снова насыпал мне леденцов. Так много, что я долго не мог их доест, даже спать ложился с леденцом во рту, и все мои сны пахли прохладной лакрицей.

Однажды утром, проснувшись после лакричного сна, я увидел, что в комнате пусто – мама исчезла. Она ушла второпях, ничего с собой не взяла, но казалось, что все ушло вместе с ней. Мне остались только два гнилых зуба, испорченных леденцами.

Не знаю, почему мама не взяла меня с собой. Может, я чем-то ее разочаровал и она решила меня бросить. Но я еще очень долго не верил, что это всерьез. Я думал, что мама обязательно за мной приедет, вот только устроится на новом месте. Мне не хотелось переезжать к бабушке, я предпочел бы дожидаться маму дома. Но папа и не собирался спрашивать мое мнение. Он хотел одного – скинуть меня на кого-нибудь и забыть о моем существовании.

Весенним вечером я стоял у двери и смотрел, как папа, не церемонясь, заталкивает все мое имущество в два плетеных нейлоновых мешка. Небо постепенно гасло, темнота заполняла опустевшую комнату, и белые стены, лишившиеся рамок и фотографий, уже не так бросались в глаза. Я сел на корточки и незаметно вытащил из груды старья, которую папа собирался отвезти на свалку, жестяную лягушку на пружинке и несколько стеклянных шариков. Папа привязал к багажнику мешки с моими вещами, и мы отправились к бабушке: он сел на велосипед, мне велел бежать следом. Сначала он ехал медленно, но в рыночной толчее потерял терпение и налег на педали. Я бежал за ним со всех ног, чуть не опрокинул прилавок с фруктами, налетел на какую-то девочку, выбил вертушку у нее из рук. Стеклянные шарики выскочили из кармана и покатались по земле. А я из последних сил бежал, потому что теперь и папа в любую секунду мог исчезнуть.

Бабушкина квартира тоже состояла из двух маленьких комнаток. Я тогда решил, что все люди на свете живут в квартирах из двух маленьких комнат. У бабушки почти не было нормальной мебели, ее заменяли разнокалиберные сундуки и коробки, и от этого квартира походила на склад. Я огляделся по сторонам, ища глазами какую-нибудь красивую безделушку вроде вазочки или фото в рамке, но обнаружил только квадратные настенные часы, по низу циферблата шла красная надпись: “90 лет со дня основания Медицинского университета”. Потом я понял, что бабушка большая поклонница таких красных надписей, они были повсюду – и на алюминиевых кружках, и на тазах, и на термосе. Только годовщины стояли разные, где-то отмечалось основание университета, где-то – создание партии.

Подошло время ужинать, на столе появилось несколько черных мисок. В комнате было всего три стула, и для меня тетя принесла табурет от швейной машинки. Бабушка жаловалась, что четвертый стул разломал папа, обещал купить взамен новый, да так и не купил. Потом она стала перечислять все не исполненные папой обещания: забыл купить пирожки, божился, что вставит ей золотые зубы, – она перечисляла и перечисляла, вспомнила все до последнего. Говоря, бабушка почти не шевелила языком, слова выкатывались прямо из ее гортани, не успе-

вая принять нужную форму. Этим диковинным клетотом бабушка напоминала какую-то птицу вроде турача. А папа невозмутимо жевал, точно вообще не понимает ее язык.

Табуретка подо мной была низенькая, приходилось сидеть очень прямо и вытягивать шею, но мои палочки все равно не знали, в какую миску им опуститься. Все три миски казались одинаковыми, и мясо, и баклажаны, и кабачки плавали в одинаково коричневой соевой гуще. Пампушки столько раз разогревали на пару, что тесто, набравшись воды, размякло и висело уродливыми лохмотьями. Взяв пампушку, я украдкой поднял глаза на бабушку и тетю. Понадеялся, что они выбросят эти лохмотья, но они их съели. А бабушка даже отщипнула кусочек и макнула в соевую гущу. Папа вообще заглатывал пампушки целиком, вместе с бахромой. Они втроем были похожи на настоящую семью, я понял, что помощи ждать бесполезно, оторвал кусочек пампушки и положил в рот. Он растаял на языке, словно ломтик сала, меня замутило и едва не вырвало.

Папа ушел сразу после ужина. Бабушка кричала ему в спину, что он должен каждый месяц исправно платить за мое содержание. Я собрал со стола грязную посуду, отнес на кухню и встал у раковины; тетя подавала чистые чашки, а я сухой тряпкой усердно вытирал капельки воды. Я догадывался, что тетю задобрить проще, чем бабушку. Она домывала посуду, отчистила плиту, расставила все по местам, и тогда я пошел вслед за ней в комнату.

Свет в комнате был такой тусклый, что казалось, будто в воздухе не хватает кислорода. Над столом висела единственная лампа, ее зеленый пыльный плафон отбрасывал огромную тень, напоминавшую крыло летучей мыши. Черно-белый телевизор громко и неразборчиво гудел, бабушка лежала на диване у окна. Это был очень старый диван, плетенный из бамбукового стебля, стебли во многих местах сломались и торчали наружу пеньками. В центре дивана была продавлена вмятина, куда идеально помещалось плоское бабушкино тельце. Казалось, она лежит в гнезде, свитом на макушке дерева. Я подумал, что бабушка спит, только было выдохнул, как она резко села, прищурилась и оглядела меня с головы до ног. А потом из сморщенного лица раздался турачий клетот:

– Живо снимай с него одежду!

Не успел я ничего сообразить, как тетя поймала меня за руку. Одернула мою полосатую кофту и начала расстегивать пуговики.

– Да чего ты возишься, рви! – скомандовала бабушка.

Тетя рванула борта кофты, и пуговики посыпались на пол. Потом ухватилась за ворот и стянула ее с меня через голову.

– И штаны! Штаны тоже снимай! – орала бабушка.

Присев на корточки, тетя обхватила меня одной рукой, а другой принялась стаскивать вельветовые брюки.

– А ты мамкины одежды за сокровище считаешь? Ха-ха! – Бабушка встала и, сложив руки на груди, плюнула на пол. – Все с мертвых детей снято! С трупиков сгнивших, в которых опарыши копались! А теперь личинки и на тебя переползли, в уши тебе залезли!

– Неправда! – закричал я.

– Бабушка тебя не обманывает. – Тетя подняла с пола кофту, вывернула ее наизнанку и показала мне шов с ярлычком, густо исписанным английскими буквами. – Это ношенная одежда, твоя мама покупала ее на рынке Хайю, там продается разный мусор, который привозят контейнерами из-за границы.

Перепуганный, я стоял посреди комнаты, послушно переставляя ноги, чтобы тетя вынула их из скатанных у щиколоток штанин. Закончив, она подняла брюки, держа их двумя пальцами за края:

– Смотри, какой цвет яркий, сразу видно, что их стирали-то всего пару раз. С мертвого сняли, иначе кто бы стал выбрасывать такую хорошую вещь?

– Хватит трясти этой поганью! – Бабушка злобно ткнула тетю в плечо. – Живо перебери его мешки, снеси мертвяцкую одежду во двор и сожги!

Я смотрел, как тетя достает из мешка мой свитер с вышитым на груди якорьком, ветровку с капюшоном, кепку... Она вынимала вещи по одной, словно давая мне в последний раз на них посмотреть. По комнате плыл такой знакомый запах, теперь я не знал, кому он принадлежал – маме или тем мертвым детям. Всю одежду тетя запихала в пустую коробку и ушла с ней во двор.

– Где еще встретишь такую злодейку, чтоб родного сына с мертвецов одевала...

Бабушка зловонно зевнула, потянулась и ушла в свою комнату.

Я остался стоять в одной майке и подштанниках. Постоял немного, а потом громко заплакал. Я рыдал, сам не зная, почему плачу – потому что у меня отобрали любимую одежду, потому что я испугался личинок с мертвых детей, которые заползли мне в уши, или потому что мама меня обманула. Я догадался, что сладковатый запах гниющих яблок с того розового свитера, что я подкладывал под голову вместо подушки, был запахом духов какой-то мертвой женщины. Прекрасные некогда воспоминания теперь вызывали ужас. И мама, ближе которой никого не было, превратилась в незнакомку. Я понял, что больше никогда не смогу любить ее так, как раньше.

Устав плакать, я заснул, привалившись к табурету от швейной машинки. Не знаю, сколько прошло времени, но проснулся я от тетиных шагов. Она взяла два стула, приставила их к своей односпальной кровати, потом вытащила из сундука в изголовье белое стеганое одеяло и постелила его сверху.

– Вставай, будешь спать со мной. – Тетя подняла меня с пола. – Майку с подштанниками тоже надо сменить. Так бабушка сказала...

Тетя сняла со спинки кровати зеленую пижамную кофту:

– Надень пока. В ней поспишь, а завтра куплю тебе две смены нового белья.

Я не двинулся с места. Тогда тетя опустилась на корточки и стала меня переодевать. Снимая подштанники, она нечаянно стянула с меня и трусы. Мой крохотный пенис выскочил на свет лампы, и тетино лицо мгновенно залилось краской. Испугавшись, что я замечу ее смущение, тетя быстро натянула на меня пижамную кофту.

Кофта была женская, и на мне она превратилась в платье до пят. Тетя нырнула в длинные рукава и выудила оттуда мои руки.

– Готово. – Закатав мне рукава, она уселась на кровать и оглядела меня. Я отвернулся. – Вот, это тебе. – Тетя достала из кармана конфету и вложила ее мне в руку.

Гладкая и прохладная воцеленная бумага приятно скользила в ладони. Опустив голову, я увидел, что это один из леденцов лакричного дядюшки.

– Когда жгла одежду, нашла у тебя в кармане штанов, – объяснила тетя. – Тут всего одна конфетка, если хочешь, я потом еще куплю.

– Не надо. – Я крепко сжал леденец в кулаке и втянул кулак обратно в рукав.

Перед сном тетя распустила волосы, выключила свет и улеглась на кровати рядом со мной. Наверное, было слишком темно, к тому же я грустил по маме, а может, тетины характерные острые скулы и выпуклый лоб спрятались за волосами, но когда я взглянул на нее, она показалась мне немного похожей на маму. Я с трудом переборол желание потянуться руками к ее груди. Скоро она тихонько захрапела.

В темноте я развернул шуршащий фантик и положил в рот последний леденец.

Будь у меня другой выбор, я бы ни за что не перенес на тетю привязанность к маме. Ты хоть и видела мою тетю, но, скорее всего, совершенно не помнишь, как она выглядит. Она с детства носила короткую стрижку и никогда не поднимала глаза на собеседника, словно жена-подросток²⁵, которой крепко достается в доме будущего мужа. В детстве тете помешали

²⁵ В бедных семьях старого Китая был распространен обычай отдавать девочку на попечение родителей ее будущего мужа.

вырасти два обстоятельства: голод и страх. Из-за голода она осталась маленькой и худенькой, кое-как преодолела метр пятьдесят. А страх вынуждал ее все время сутулиться, вжимать голову в плечи, стараясь казаться еще меньше. Тетя моя вовсе не уродина, у нее приятные черты лица, вот только росла она осторожно, стараясь не выделяться, не привлекать к себе внимания. Для нее внимание было равноценно огромной опасности, она бы хотела, чтобы люди ее вовсе не замечали. В компании тете неизменно удавалось сделать так, что все быстро забывали о ее существовании.

Однажды она подарила мне набор акварельных карандашей. В благодарность я решил нарисовать ее портрет. Густо залившись краской, тетя кое-как просидела под моим взглядом пятнадцать минут. Наверное, до меня ее никто так внимательно не рассматривал, я был первым.

Я попал в бабушкин дом весной, пропустив набор в детский сад. Бабушке было лень хлопотать и устраивать меня туда посреди года, поэтому она решила, что я посижу дома до осени, а там пойду в школу. В Наньюане жило много детей, но все они ходили в сад, так что друзей у меня не было, и я с весны до самой осени играл один. Скоро папа сошелся с какой-то вдовой и почти перестал появляться в Наньюане, деньги тоже задерживал. Вспоминая об этом, бабушка очень сердилась и срывала зло на мне: гонялась за мной с метлой, кричала, что завтра же выставит меня из дома. На самом деле от меня была пусть небольшая, но польза – я пропалывал ее грядки, поливал люффу и кабачки. Бабушка выращивала овощи на заднем дворе, но весной всегда начинала скучать по диким растениям и травам, истекала слюной, мечтая о пельменях с пастушьей сумкой или яйцах, обжаренных с цветками софоры. По утрам она вешала мне на спину корзину и отправляла рвать бутоны софоры или выкапывать какие-нибудь корешки. Еще я собирал тополиные сережки – такие штуковины, похожие на волосатых гусениц, – бабушка мелко крошила мой улов, смешивала с фаршем и лепила пирожки баоцзы. На местном диалекте тополиные сережки зовут “напрасными хлопотами”, так люди смеются над тополем – пустоцвет, не завязывает плодов, только зря старается. Ребенком я не понимал, что значит это название, но, повторяя его вслед за взрослыми, чувствовал легкую грусть. Стоя под высоким тополем, я взмахивал бамбуковой палкой, задираю голову и смотрел, как сверху одна за другой сыплются напрасно распутившиеся тополиные сережки.

Я слонялся повсюду с корзиной за спиной. Тогда Наньюань казался мне огромным, чтобы пройти из конца в конец, нужна была целая вечность. Но времени у меня хватало, при желании я мог целый день болтаться на улице, бабушка точно не стала бы меня искать. Радиус моих прогулок постоянно увеличивался, скоро я стал выходить и за пределы Наньюаня, заглядывал в университетский кампус, в больницу, в магазинчик у ворот – в общем, обошел все доступные места в округе.

Однажды я вышел из Наньюаня и сам не заметил, как очутился на одной из соседних улиц. Там стояла церковь, которую я прежде ни разу не видел. Выглядела церковь очень внушительно: бурые каменные стены, вонзающийся в небо крест. Ворота были открыты, изнутри доносилось пение. Я прошел через церковный двор, остановился у дверей и заглянул внутрь. Все люди в церкви стояли, священник что-то говорил, а они повторяли за ним, как младшеклассники. Некоторые женщины даже плакали, причем все громче и громче, слезы они не вытирали, и никто не подходил к ним, чтобы утешить. Когда служба закончилась, женщины мигом пришли в себя, заговорили, заулыбались, будто вовсе и не плакали. А потом одна за другой потянулись из церкви. Три пожилые дамы, сидевшие в первом ряду, заметили меня у входа.

– И-и! Чей же это мальчик? Первый раз его вижу, – оглядев меня, сказала женщина пониже. Я был одет в мешковатую футболку, всю в дырочках, ворот так растянулся, что откры-

вал не только шею, но и плечо. Лицо у меня было перепачканное, а за спиной болталась здоровая корзина.

– Один, без взрослых? Где же ты живешь? – спросила высокая женщина.

Они засыпали меня вопросами и в конце концов выяснили, кто мои папа и бабушка.

– Ах, это мальчик из семьи Лао Чэна...²⁶ Неудивительно. – Низкорослая женщина впи-
лась глазами в мои пластиковые сандалии, тут и там перехваченные пластырем.

Третья женщина, с пучком серебристых волос на затылке, все это время молчала, потом зашла в церковь и вынесла пригоршню конфет.

– Вот, держи-ка. – Она выглядела немного моложе моей бабушки, большие глаза прята-
лись в мягких складочках морщин.

– А я что говорю! У Хуэйюнь самое доброе сердце, нам бы у нее поучиться! – сказала низенькая женщина высокой.

– Это верно, но бабушка его мне не по душе... – тихо пробормотала высокая.

Я не потянулся взять угощение. После лакричного дядюшки я стал настороженно отно-
ситься к сладостям от незнакомцев. Тогда женщина по имени Хуэйюнь поймала мою чумазую
ладонь и вложила в нее подарок.

– В следующее воскресенье приходи сюда снова. Договорились? – улыбнулась она.

Не поблагодарив, я зажал конфеты в кулаке и побежал прочь.

На другой день я пошел с тетей за пампушками в столовую Наньюаня и у входа столк-
нулся с этой женщиной. Я понял, что она тоже из местных. Думал, она подойдет и заговорит
со мной, но женщина сделала вид, что мы незнакомы, и с бесстрастным лицом прошла мимо.
Я немного расстроился. Потом, не скоро, я узнал, что это твоя бабушка. К тому времени ее
отношение ко мне уже переменялось, но я был по-прежнему ей благодарен.

В воскресенье я снова отправился в церковь. После службы женщина вышла на улицу
и улыбнулась мне, как в прошлый раз. Но конфет не вынесла, а поспешно простилась со свя-
щенником и сразу ушла. Я поклонился немного по церковному двору, тоже хотел уйти, но меня
задержал священник.

– Как тебя зовут, мальчик?

– Чэн Гун.

– Чэнгун, “успех”? Ха-ха, славное имя! – Он оглядел меня, прищурив маленькие глазки. –
А знаешь, что такое настоящий успех?

Я помотал головой и зашагал к воротам.

– Стать добродетельным человеком. – Он остановил меня, положив руку на плечо. –
Помнишь, что я говорил сегодня на проповеди?

Я снова помотал головой.

– В следующий раз постарайся запомнить, тебе это пригодится. Хорошо? – Он погладил
меня по голове. – Не уходи, я сейчас вернусь.

Я стоял посреди двора, залитого ярким полуденным солнцем, и смотрел, как он идет из
церкви с пакетом в руках, а потом достает оттуда пару синих пластиковых сандалий.

– Примерь-ка.

Сандалии были новые, даже с ярлычком. Недоверчиво глядя на священника, я медленно
разулся и примерил обновку.

– В самый раз! – сказал он. – Носи на здоровье, а старые сандалии выброси, ремешки у
них рваные, неровен час, упадешь. – Он снова погладил меня по голове. – Если тебе еще что-
нибудь понадобится, ты мне скажи. Договорились? – Увидев, что я киваю, он тоже удовлетво-
ренно кивнул. – Но я бы хотел, чтобы ты приходил сюда каждую неделю, так ты сможешь стать
добродетельным человеком.

²⁶ Лао (“уважаемый, пожилой”) – префикс, который используется при обращении к старшим по возрасту или положению.

Я шагал домой в новеньких сандалиях, гадая про себя: церковь – это что, пещера с сокровищами? Откуда там столько богатств? Не успел я и глазом моргнуть, а священник вынес детские сандалии моего размера. Может, он умеет колдовать? Недаром целыми днями толкует про этого Бога под названием Творец Небесный, может, Бог и правда наделил его магической силой? Дома я рассказал обо всем тете. Тетя была уверена, что священник еще в прошлый раз заметил мои рваные сандалии, но я помнил, что тогда он на меня вообще не смотрел. Однако тетю этот вопрос не интересовал, ее больше заботило, почему священник велел мне приходить каждое воскресенье. Я поняла, сказала тетя, он хочет взять тебя в ученики, он видит, что ты необычный ребенок. Я спросил, зачем ему брать меня в ученики. Чтобы ты стал священником! Я сказал, что хочу быть не священником, а летчиком. Знаю, ответила тетя, но ты уж не расстраивай человека. Подумав, добавила: попроси у него две новые кофты, а то старые порвались. На тебе вся одежда горит. Да, и еще радиоуправляемую машинку, ты ведь хотел машинку? Будет вместо подарка на день рождения. Я сказал, что уже передумал, хочу на день рождения велосипед. Тетя покрутила меня за ухо: ишь какой, губа не дура!

В воскресенье я снова пришел в церковь. Дождался, пока все разойдутся, и сказал священнику, что в следующем месяце у меня день рождения, я хотел бы получить новую майку и велосипед. На этот раз он не наколдовал мне подарков, даже ничего не пообещал, просто велел приходить через неделю. Я кое-как дождался воскресенья, с утра пораньше прибежал в церковь и высидел почти всю службу, священник говорил очень долго – дух, грех, и так без конца, я не выдержал и уснул, привалившись к скамье в последнем ряду, а когда проснулся, служба уже закончилась. Договорив с окружившими его прихожанами, священник скрылся в глубине храма. А потом выкатил оттуда маленький велосипед. Алая рама ярко переливалась в мрачном свете церковного зала. Никто и никогда еще не исполнял моих желаний, в ту секунду я был по-настоящему тронут, даже решил, что соглашусь быть священником, если ему так надо.

На руле велосипеда висел пакет, священник вынул из него белую рубашку и футболку в сине-белую полоску. Он приложил их ко мне, а потом спрятал обратно в пакет.

– Давай договоримся, – сказал он с улыбкой, – что на каждый твой день рождения я буду исполнять одно желание. Говори мне заранее, что загадаешь.

– Хорошо. – Опустив голову, я поглаживал серебристый руль.

На прощанье священник снова наказал мне чаще бывать в церкви, чтобы стать добродетельным человеком.

Я выкатил на улицу верхом на велосипеде, щеки обдувало свежим ветерком, педали крутились все быстрее, казалось, они вот-вот вылетят из-под сандалий. До сих пор помню свою радость. В моих воспоминаниях тот день стал чертой, после которой я по-настоящему поселился в Наньюане. Доброта постороннего человека расположила меня к этому месту. Я был уверен, что священник не каждому оказывает такие милости, тетя права: я необычный ребенок. Я все еще не хотел становиться священником, но надежда, которую он на меня возлагал, оказалась очень важна. Мамин уход породил во мне подавленность и глубокое самоотрицание, а теперь вера в себя стала понемногу возвращаться.

Утром накануне дня рождения у меня выпал первый молочный зуб. Положив его на ладонь, я всматривался в проеденные кариесом бурые крапины, во рту плескалось что-то кислое, а сквозь него пробивался давно утраченный вкус лакрицы. Но скоро он исчез. Коротко вспыхнул, будто только затем, чтобы попрощаться. Тетя сказала, что верхний зуб нужно закопать в землю, а нижний забросить повыше, тогда новые зубы вырастут ровными. Я встал посреди двора у бабушкиного дома, подпрыгнул так высоко, как только мог, и забросил зуб на крышу пристроенного к дому сарая. Правда, тетя не предупредила меня, что где зубы бросишь, там и корни пустишь. И я остался в том доме на двадцать с лишним лет.

Ли Цзяци

С раннего детства у меня было предчувствие, что однажды папа уйдет. Я даже придумала ему наиболее удобный путь отступления – влюбиться в кого-нибудь из студенток. Кроме преподавания на факультете китайской словесности, папа еще курировал группы и, разумеется, должен был интересоваться жизнью студентов, беседовать по душам с длинноволосыми девушками, прижимающими к груди любимый томик стихов. “Беседовать по душам” – люблю это слегка устаревшее выражение, от него так и веет восьмидесятыми, тогда наши души прятались еще не очень глубоко, их можно было выманить на свет беседами.

Папа не приводил студентов к нам домой и не приглашал маму на университетские посиделки. Поэтому я никогда не видела девушек, которые у него учились. Все сведения о них я черпала из выпускных альбомов, которые папа приносил домой. Иными словами, я могла посмотреть на этих девушек только после выпуска. Правда, девушки и тогда не думали прощаться с папой, писали ему: “Наша повесть еще не кончена”, “Вы всегда будете моей гаванью”, и, встречая в альбоме такие фразы, я неизменно принимала их за признания в любви. Щурясь от послеполуденного солнца, я придирчиво разглядывала девушек на мелких снимках (эта любит закатом, обхватив руками колени; другая сидит на траве, держа в руках широкополую шляпу), словно выбирала себе будущую мачеху.

Почему-то я пребывала в абсолютной уверенности, что все эти девушки лучше мамы. Не из-за молодости и красоты – красотой с ней мало кто мог сравниться, просто они не были деревенскими. Мне не приходило в голову, что студентки тоже могли приехать в Цзинань из деревни. Если так, у мамы опыта городской жизни даже больше. Вот только ни одна из тех девушек не была похожа на деревенскую. Они умели сказать: “Наша повесть еще не кончена” или “Вы всегда будете моей гаванью”, моей маме такое никогда и в голову не пришло бы.

Но студентка, которой предстояло увести папу из семьи, так и не объявилась. В 1990 году он уволился из университета и решил ехать в Пекин, попробовать себя в бизнесе. Накануне папиного отъезда я впервые встретила с его студентами.

Тем вечером к нам домой их пришло человек семь или восемь. Папа еще не вернулся – друзья устроили ему проводы в ресторанчике неподалеку. Студенты разом заполнили нашу тесную гостиную. Они сидели очень серьезные, стянув губы, и никто даже не притронулся к арбузу, который мама поставила на стол.

– Матушка, извините, пожалуйста, что мы вас потревожили, просто нам очень нужно повидаться с учителем... – сказала одна студентка. Глаза у нее опухли, как после долгих слез.

– Матушка, – подхватил другой студент, – вы даже не представляете, сколько добра сделал нам учитель...

Мама растерянно смотрела на него и молча улыбалась, не зная, что ответить.

– Прошлым летом, – продолжал студент, – он один поддержал нас, когда мы поехали в Пекин²⁷. А когда мы вернулись, в университете нас решили наказать, и он вступился за нас, единственный из всех преподавателей. А им только повод дай, и он так пострадал из-за нас.

Мама ничего не знала о той истории. Но сейчас это было уже неважно. Ее больше обеспокоил “Пекин”, о котором говорили студенты.

– А что он сейчас в Пекин едет, это не опасно?

Студенты уверяли, что никакой опасности нет, но мама все равно не могла успокоиться. Для нее “Пекин” был одним из тех слов, которые появляются только в новостях по телевизору вместе с другими, еще более громадными словами, “государство” и “мир”. Там проходят

²⁷ Вероятно, имеется в виду участие студентов в серии акций протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине, продолжавшихся с 15 апреля по 4 июня 1989 года. 4 июня протестующие были разогнаны танками, погибли сотни людей.

встречи с главами иностранных держав, Азиатские игры и парад на День основания КНР – в мамином понимании Пекин был местом, где свершаются великие дела, она не представляла, как там вообще можно жить. Она хотела послушать об этом городе еще немного и спросила студентов, такой ли Пекин, как показывают в телевизоре? Повсюду широкие дороги, а на площади всегда толпы людей? Студенты и сами-то были в столице всего однажды, но держались так, будто прожили там полжизни. Они рассказали маме о десяти смутных днях, что провели в Пекине. Расставание с грезами стало для них своего рода смертью.

Притворяясь, будто не слушаю, я стояла за маминой спиной, прокручивая руку пластмассовой куклы. Круг, еще круг – точно вращаю ручку патефона. Студенты увлеклись воспоминаниями, рука крутилась все быстрее, вдруг она выскочила из рукава, пролетела через комнату и приземлилась у ног одного из студентов. Рассказ прервался на полуслове. Все уставились на меня, будто только сейчас узнали о моем существовании. Студент подобрал пластмассовую руку, я покраснела до ушей и нерешительно подошла к нему. Он взял у меня куклу, приложил руку к пустому гнезду и с силой вставил ее на место.

– Вот, больше не ломай, – сказал он, возвращая мне куклу.

После этого маленького инцидента все погрузилось в молчание. Воздух в гостиной залубенел. Напряжения не хватало, и свет в лампочках подрагивал. Вжж... вжж...

Папа вернулся домой пьяным. Окутанный алыми клубами винных паров, он напоминал раскаленный уголек, с треском поедающий сам себя. Он пришел расстроенным из-за окончания вечера, но мигом развеселился, стоило ему увидеть в гостиной студентов. Это было то особое пустое веселье, известное только пьяным. Когда человеку весело просто от того, что вокруг много людей. Мама принесла ему стул. Он долго качался на нетвердых ногах, но усадить себя так и не смог. Я немного беспокоилась за папу, боялась, что он разочарует студентов, но они смотрели на него с благоговением. И еще как будто с жалостью, словно хорошо понимают его боль. Я им завидовала: студенты так много знали о папе, что походили на его настоящую семью, не то что мы с мамой.

– Сколько раз повторять, я увольняюсь не из-за вас! – Папа размахивал указательным пальцем. – Я просто увидел все как есть. – Он покачал головой. – Ни капли смысла.

Студенты молчали. Одна девушка тихонько заплакала.

– Не плачь, Сяо Цзянь. Не надо плакать. – Папин голос звучал очень нежно.

Наконец он опустил на стоявший сзади стул, посидел немного в задумчивости и вдруг рассмеялся.

– Пора нам оставить свои надежды.

В моих воспоминаниях именно этой фразой и завершился печальный и торжественный вечер прощания со студентами. Но на самом деле вечер шел своим чередом, просто мама увела меня спать.

Я не понимала, о чем они говорили, но почему-то запомнила каждое слово. Много лет спустя Сюй Ячэнь очень удивился, когда я смогла с начала и до конца пересказать ему все, что услышала тем вечером о пекинских событиях. Какие-то подробности он и сам уже забыл или помнил неверно. Дослушав меня, Сюй Ячэнь заключил, что некоторые вещи откладываются в памяти помимо нашей воли.

Сюй Ячэнь – тот самый студент, починивший мою куклу. Я встретила его четыре года назад, когда работала в редакции модного журнала. На том благотворительном аукционе все было как обычно: толпа успешных бизнесменов, знаменитых красавиц и представителей новой аристократии. Выставка богатства. Наперебой повышая цены, публика скупала украшения из коллекций знаменитостей, баснословно дорогие вина и картины модных художников. Вырученные деньги должны были пойти на строительство начальной школы для детей рабочих-мигрантов из сельской местности. Любовь бесценна, из раза в раз повторял ведущий, но на аукционе каждой порции любви назначалась своя цена. Сюй Ячэнь, к примеру, выложил

кучу денег за работу одного знаменитого скульптора. Когда ведущий попросил его подняться на сцену и сказать несколько слов, он любовно оглядел своими маленькими глазками детей в первом ряду, будущих учеников новой школы, и сказал:

– От нас нужна лишь толика усилий, чтобы изменить всю жизнь этих ребятишек.

В зале раздались бурные аплодисменты. Не знаю, что меня покорило в его словах, но детей стало жалко. Как мало значат эти жизни, если их может изменить всего лишь толика чьих-то усилий.

Сюй Ячэнь был одет в серую рубашку, верхняя пуговка едва держалась в петле, и воротничок сжимался тугим кольцом прямо под круглой головой, напоминая руки душителя, требующего вернуть долг. Я заставила себя запомнить ничем не примечательное лицо Сюй Ячэня, чтобы потом отыскать его в толпе, когда все будут расходиться. Он был владельцем сети ресторанов, которая вызвала настоящий переполох на рынке, к тому же недавно всплыла новость, будто он рассорился с соучредителем, газеты только о нем и писали. Главный редактор дал мне задание встретиться с Сюй Ячэнем и взять у него интервью для рубрики “Новая городская аристократия”. После окончания торгов я стала медленно пробираться к нему с бокалом шампанского в руках, дождалась, пока его собеседники разойдутся, подошла и попросила об интервью. Он охотно согласился. Выполнив задачу, я посчитала невежливым сразу отступить и завязала светскую беседу. Сюй Ячэнь спросил, откуда я родом, я назвала Цзинань, он ответил, что учился в Цзинане. Университет, факультет, курс – все сошлось. Я спросила, знал ли он Ли Муюаня. Он ответил, что это его учитель. Я сказала, что Ли Муюань – мой отец.

– Сестренка! Дочка учителя! – патетично воскликнул Сюй Ячэнь.

Рука у меня дрогнула, и шампанское едва не выплеснулось из бокала. Слово “сестренка” показалось мне таким трогательным, я почувствовала себя одной из папиных студенток.

Сюй Ячэнь сказал, что мы уже встречались, но я тогда была маленькой стеснительной девочкой. Я не могла узнать в нем ни одного из папиных студентов, пока он вдруг не вспомнил про куклу, он сказал, что починил моей кукле оторвавшуюся руку. Я очень удивилась, мне казалось, что тот паренек и стоящий передо мной мужчина просто не могут быть одним человеком.

– Вы были совсем маленькой, вряд ли меня запомнили, – сказал он.

Но я ответила, что отлично помню, как он выглядел.

– Значит, я постарел. И потолстел, – грустно улыбнулся Сюй Ячэнь.

По-моему, дело было не в этом. Вероятно, я просто не представляла, что тот студент однажды превратится в удачливого ресторатора. Не знаю, в кого он, по моему мнению, должен был превратиться, но, во всяком случае, в кого-то не столь успешного. Скорее всего, прощальный вечер показался мне до того печальным, что я решила, будто эта печаль станет лейтмотивом всей жизни папиных студентов.

К нам подошел кто-то из организаторов аукциона и попросил Сюй Ячэня сфотографироваться со скульптурой. Скульптура изображала девочку лет десяти. Одета в розовое платье девочка слегка согнула колени и вся подалась вперед, запрокинув голову и прикрыв глаза, как будто вдыхает пьянящий аромат какого-то невидимого цветка. Скульптура называлась “Мечта”. По просьбе фотографа Сюй Ячэнь обнял “Мечту” и расплылся в лучезарной улыбке.

Спустя пару дней мы встретились для интервью, а после него он отвез меня поужинать. Ресторан находился на шестьдесят пятом этаже, при взгляде через огромное окно казалось, что уличные фонари горят где-то на другом конце жизни. До земли было так же далеко, как до 1990 года. Прошлые мы не вспоминали. Он говорил о красном вине, о поездках, о художественных коллекциях – как говорил бы с любой малознакомой девушкой. Мы весело поболтали, но я была уверена, что на следующий день этот разговор полностью выветрится из памяти.

После ужина он повез меня домой, мы ехали по проспекту Чанъянь через широкую площадь²⁸, и темно-красные стены в ночи казались ржавыми. В машине было тихо, слышалось только шуршание кондиционера, Сюй Ячэнь посмотрел на меня и предложил заехать к нему домой, выпить вина. Сказал, что у него есть коллекция хорошего красного вина. Я согласилась.

Он недавно развелся и жил один в большом загородном доме. Мы сели в саду и открыли вино. Был июньский вечер, воздух после дождя казался свежим и прохладным. По щекам скользил мягкий ветерок, разгонявший хмель. На второй бутылке Сюй Ячэнь заговорил о моем папе. Опустив лицо, я уперлась взглядом в край бокала, боясь пропустить хоть слово.

Сюй Ячэнь сказал, что они узнали о папиной смерти только через несколько лет после выпуска. Собрались группой и устроили памятный вечер в его честь, плакали все до одного. Сюй Ячэнь вспоминал, что те горькие слезы стали концом его юности.

– И не только юности. Кажется, закончилась целая эпоха, – сказал он.

– Закончилась целая эпоха. – Я еле слышно повторила эту фразу, цепко ухватившись за нее, как будто теперь мне наконец открылся торжественный смысл папиной смерти.

Тем вечером мы не были сильно пьяны. Просто дошли до той стадии, на которой я могла без смущения остаться на ночь.

Занимаясь любовью, мы оба словно искали что-то друг в друге. Следы лопнувших идеалов, следы той поры, когда люди были честны и великодушны, следы ушедшей эпохи. Мы были нужны друг другу, чтобы вернуться в то время и место, где встретились впервые. Я хотела вернуться туда, чтобы разгадать все загадки, а он – чтобы вспомнить все забытое.

– Сестренка, – шепнул он, когда наши тела сплелись, напомнив, что между нами всегда есть третий.

– Папа, – тихо позвала я этого третьего, прочно обосновавшегося в пустоте.

Мы не спали всю ночь. Лежали на кровати, вспоминая тот вечер 1990 года. Я помнила его намного отчетливей, могла пересказать все, о чем тогда говорили.

– Ты спросил, кто знает, сколько лампочек-магнолий украшает каждый фонарь на проспекте Чанъянь. И сказал: двенадцать. Долгими ночами на площади ты пересчитывал эти лампочки одну за другой, одну за другой. – Я слышала, как произношу слова, но хриплый шершавый голос казался чужим, словно играла записанная много лет назад кассета. Резко прояснившись, память обратилась в мощный прожектор, под лучом которого Сюй Ячэнь выглядел болезненным и слабым. Он сказал, что видит прежнего себя. Не помнит, а видит. Потому что тот, прежний Сюй Ячэнь, все еще там. В ушедшей эпохе. А потом добавил, что знает: он – калека.

– Какая-то часть меня погибла вместе с эпохой.

Я лежала с закрытыми глазами, но чувствовала скорый рассвет, потому что темнота, давившая на веки, становилась легче.

Утром, одевшись, он снова стал целым и невредимым. Провел меня по дому, продемонстрировал гарнитур из желтого палисандра, показал новый винный погреб и даже открыл глухо запертую комнату на втором этаже, чтобы я полюбовалась коллекцией, собранной на аукционах. Окна в просторной комнате даже днем были плотно зашторены: дорогим фотороботам вредит яркий свет. Отрезанная от солнца комната пахла тюрьмой. А картины на стенах казались клетками, в которых томятся девушки, летние пейзажи и спелые яблоки. Все помещение было заставлено скульптурами разных размеров, как могильный склеп – погребальными статуэтками. Наверное, в последнее время Сюй Ячэнь слишком увлекся покупками, ему было даже недосуг их распаковать, многие картины так и висели, замотанные в пленку. В дальнем углу я увидела скульптуру, которую он привез с последнего аукциона. Девочку под названием

²⁸ Имеется в виду площадь Тяньаньмэнь.

“Мечта”. Она тоже была завернута в пленку, а сверху перехвачена скотчем, крепко стягивавшим ее улыбку.

Сюй Ячэнь был очень доволен своей жизнью. Как и многие успешные люди, он верил, что неудачи только помогли ему вылепить нынешнего себя.

– Хорошо, что из-за тех событий меня не приняли в партию, – сказал он. – Иначе с моим характером прямая дорога в чиновники. Целыми днями трястись от страха ради мелкой взятки. Ни капли смысла.

Ни капли смысла. Папины слова. Правда, под “смыслом” они с Сюй Ячэнем, скорее всего, понимали разное. Но восемнадцать лет назад мой папа выразился именно так. Если бы он был жив, если бы дела его шли хорошо, к этому времени он тоже стал бы состоятельным предпринимателем. Поблагодарил бы он пекинские события, если бы взглянул сейчас на все, чего добился? Наверное, он давно забыл бы тот прощальный вечер? Видимо, тому вечеру суждено было стереться из памяти всех его участников.

У меня оставался еще один вопрос к Сюй Ячэню, но я упустила подходящий момент, теперь спрашивать было поздно. Я хотела спросить: если бы папа был жив, какая-то его часть тоже погибла бы вместе с эпохой? Или она погибла еще раньше, а потом просто пережила бы вторую смерть?

Прошло так много лет, но Сюй Ячэнь по-прежнему боготворил моего папу. Изменились лишь черты, которые он боготворил. Нынешний Сюй Ячэнь восхищался его “мудрым и дальновидным решением” уйти из университета в коммерцию. Называл папу одним из первых бизнесменов в Республике. Но мне казалось, что папа просто удалился в самоизгнание. Многие преподаватели факультета его недолюбливали, это я узнала от Сюй Ячэня. Наказав папу за поддержку студентов, они придумывали новые способы расправы, даже запретили ему вести занятия. Тогда папа потерял всякую веру. И его слова “увидел все как есть”, “ни капли смысла” были вызваны войной и интригами на факультете. Он написал заявление, а что делать после ухода из университета, представлял себе смутно. Вспомнил о двоюродном брате, который вел бизнес в Пекине, и тоже решил пойти в предприниматели. Но на самом деле бизнес никогда не вызывал у него большого интереса.

Когда я встретила Сюй Ячэня, был 2008 год. Тан Хуэй только что вернулся в Пекин. Мы начали встречаться еще в университете (он учился на три курса старше) и к тому времени были вместе уже много лет. После выпуска он поехал в Шанхай поступать в аспирантуру, а я решила остаться в Пекине. Не знаю, что хорошего я нашла в этом нескладном городе, – возможно, я не могла оторваться от Пекина из-за папы. Те несколько лет мы с Тан Хуэем почти не виделись, но чувства наши оставались на удивление прочными. Временами я изменяла ему, но больше от скуки. Тан Хуэй ничего не знал, он верил в нашу любовь, как верят в математическую аксиому. Защитив диссертацию, он наконец вернулся в Пекин и устроился преподавать в университете. Все эти годы я снимала жилье в складчину с друзьями, постоянно переезжала с места на место, поэтому первым делом Тан Хуэй решил покончить с моими скитаниями и арендовал нам квартиру. Я вышла на середину пустой светлой комнаты, он крепко обнял меня сзади и сказал:

– Наш первый дом.

Любовь Тан Хуэя казалась такой же мягкой, как его ладони, мне было в ней спокойно и уютно.

Мы переехали в новую квартиру. Измерили окна и заказали зеленые фланелевые шторы, их еще не успели пошить; гардения и фрезия на подоконнике пока не расцвели, и вино из зеленых слив Цзяншао было еще не готово. Я купила небольшую духовку и сковороду для тамагояки²⁹, распечатала толстую стопку рецептов из интернета. Впереди расстилалась тихая семейная жизнь, отремонтированные стены едва заметно пахли краской, и этот химический

²⁹ Тамагояки – блюдо японской кухни, омлет, приготовленный в виде рулета.

запах давал ощущение простора. Огромное пустое пространство ждало, чтобы мы заполнили его дымом своего очага.

К счастью, той ночью Тан Хуэй был в командировке в Шанхае. Не знаю, почему я решила взять интервью у Сюй Ячэня, пока Тан Хуэй в командировке, может, с самого начала подспудно чувствовала, что между нами что-то будет. Пусть так, я все равно могла закончить эту историю и выбросить ее из головы. Ночь была такой длинной, мы успели сказать друг другу все, что должны были, и утром следовало поставить точку. Собираясь домой, я твердо решила так и поступить, – печально обняла Сюй Ячэня на прощанье, зная, что мы никогда больше не увидимся. Заднее сиденье в такси было залито солнечным светом, а мое сердце разрывалось от отчаяния. Я никогда больше не увижу Сюй Ячэня, значит, никогда уже не подойду к папе так близко. Машина увозила меня прочь, и я почти видела, как медленно ползет вниз рулонная дверь, закрывающая от меня прошлое.

И следующей ночью мне впервые приснился тот странный сон. Во сне мне лет восемь или девять, волосы собраны в растрепанную косичку, – там я такая же, как когда мы с тобой познакомились. Я сижу в раскачивающемся поезде. В вагоне пусто, полумрак, пол застелен потрепанным ковром со старомодным узором. Вдруг к ногам подкатывается красная матрешка. Я беру ее в руки. Деревянная матрешка сверху донизу покрыта блестящей алой краской, на ее лице блуждает сальная улыбка. При этом матрешка грузная, выглядит величаво, и глаза у нее ясные, как у бодхисатвы.

Я слышу резкий женский голос:

– Открой ее!

Развинчиваю матрешкин живот, внутри вижу еще одну матрешку, поменьше. Я открываю и ее, там оказывается еще одна, еще меньше. Я без остановки кручу матрешек, на лбу выступает испарина. Одну за другой, одну за другой, кажется, они никогда не кончатся.

– Открой ее, открой!

Женский голос эхом возвращается от стен вагона. Половинки матрешек с дробным стуком перекатываются по полу.

Я просыпаюсь в луже ледяного пота. Тан Хуэй мягко гладит меня по спине: “Это всего-навсего плохой сон”.

Я прижимаюсь к его груди. Я еще не знаю, в чем смысл этого сна, но чувствую, что так просто все не кончится. И правда, спустя неделю мне снова позвонил Сюй Ячэнь.

– Хочу с тобой увидеться, – прошептал он в трубку.

В тот же день он встретил меня на машине и повез в загородный ресторан. Был ясный летний вечер, в воздухе пахло травой. Машина ехала по широкой трассе, слева и справа раскинулись пышные пшеничные поля, багряное солнце неторопливо уходило за горизонт, по радио звучала песня “Детство” Ло Даю. Я и правда почувствовала себя ребенком, которого отпустили на каникулы, и вдруг очень развеселилась.

Ресторан окружали высокие деревья, цикады пели у самого уха. На уличных столиках горели миниатюрные белые свечи, а в пруду плавали пурпурные кувшинки.

– Мы с тобой знакомы целых восемнадцать лет, – сказал Сюй Ячэнь. – Согласись, трудно в это поверить. В последнее время я часто думал о тебе. Ты помогла мне многое вспомнить, с тобой я чувствую себя удивительно настоящим.

Я подняла бокал:

– За все настоящее.

Воля моя таяла в вине, мало-помалу исчезающем из бутылки. Я забыла данное себе обещание и снова поехала домой к Сюй Ячэню. Там мы занимались любовью, а потом, вдребезги пьяные, заснули. Благо около полуночи я проснулась от жажды. Телефон на тумбочке исступленно мигал. Я соскочила с кровати, сунула ноги в туфли, попрощалась с Сюй Ячэнем и выбежала на улицу.

Тан Хуэю я нескладно наврала – дескать, мы с коллегами решили выпить после работы.

– Мы договорились, что теперь будем собираться почаще, – сказала я, заранее готовя предлог для всех будущих отлучек.

– Похоже, пора мне учиться пить, не то опозорюсь перед твоими друзьями, – сказал Тан Хуэй.

– Тебе они не понравятся. Скучные люди.

На выходных Сюй Ячэнь снова позвонил. Укладывая волосы, я вдруг поняла, что не узнаю себя в зеркале. И комната в отражении тоже показалась незнакомой – может быть, из-за новых штор, их цвет был не такой, как я хотела, слишком яркий, агрессивно-зеленый. Скользнув взглядом по правому краю зеркала, я вдруг увидела, что из серого угла комнаты за мной следит пара глаз.

– Папа! – Я обернулась.

Он сидел в углу, одетый в коричневый вязаный жилет, который носил много лет назад, волосы сально блестели. На кожаном ботинке покачивался зеленый солнечный зайчик. Папа смотрел на меня без всякого выражения и молчал.

– Я не знаю, что делать, папа, – сказала я. – Я просто хочу быть ближе к тебе.

Зеленый солнечный зайчик, искрясь, утонул в моих слезах. Пятно света расплылось перед глазами, и папа исчез.

Пусть это был всего лишь мираж, но его появление отпустило мою вину. Что может быть важнее, чем оказаться ближе к папе?

Мы стали видеться с Сюй Ячэнем почти каждую неделю. Порядок был один и тот же: вечером он встречал меня на машине, вез ужинать, потом мы ехали к нему, пили вино, занимались любовью и вспоминали прошлое. По-настоящему меня интересовал только последний пункт из этого списка, все остальные можно было и сократить. Но Сюй Ячэнь ценил хорошую кухню и каждый раз придирчиво выбирал новое место, мы ужинали на крыше, утопающей в бугенвиллеях, ходили в старый китайский дворик, засаженный пятнистым бамбуком сянфэй, дегустировали блюда, приготовленные заграничным мишленовским поваром, пробовали смелые эксперименты молекулярной кухни.

– Буду заботиться о тебе вместо учителя, – со всей серьезностью сказал он однажды, глядя в меню.

Но, проводя время в роскошных ресторанах, наслаждаясь дорогими блюдами, я не могла отделаться от чувства вины. Глядя, как Сюй Ячэнь сидит напротив в хорошем костюме и покачивает бокал с вином, порой я впадала в ярость. Почему мы так радостны и беззаботны? Это неправильно. Фоном наших встреч должна быть скорбь. Как тем вечером 1990 года. Мы должны закрыться в зашторенной комнате, мучительно любить друг друга и мучительно оплакивать прошлое. Только мучение оправдывает нашу похоть и облагородит мое предательство.

Я сдерживала ярость и сосредоточенно доедала все, что мне принесли. Наконец официант забрал мою тарелку.

– Не хочу десерт, – сказала я. – Давай уже поедем к тебе?

Он лукаво улыбнулся:

– Спешить некуда. Допей сначала вино.

Дома я сразу потащила его на второй этаж, спотыкаясь, влетела в спальню, сорвала с него рубашку, расстегнула ремень. Под светом луны его рыхлое тело напоминало груды развалин.

– Так сильно хочется? – тихо спросил он.

– Угу, – ответила я. Правда, я хотела вовсе не того, что он собирался мне дать.

Я была груба и истерична. Выжала свое мучение до последней капли. Принесла в жертву его богатство, превратила его в голь, в босяка.

– Ты разбойница, – слабо пробормотал Сюй Ячэнь.

Вожделение схлынуло, омыв наши тела. На мгновение с какого-то ракурса он и в самом деле показался мне немного похожим на того студента. Пылкое угловатое лицо с тенью разочарования, которая меня так пленяла. Я едва не потянулась, чтобы обнять его. Хотелось удержать эту любовь хоть на минуту, и я попросила:

– Расскажи еще что-нибудь из тех времен.

Из тех времен. Мы с ним часто повторяли эти слова, хотя и вкладывали в них несколько разный смысл. Для него “те времена” были студенческой порой, а мои “те времена” – три года, когда он учился у папы.

– Что рассказать? – спросил Сюй Ячэнь.

– Что хочешь.

Он закрыл глаза и стал вспоминать. Смутно припомнил, как однажды расстался с девушкой и стал пить запоем, да еще подрался с ее новым парнем. Тогда мой папа вызвал Сюй Ячэня на разговор. Но вместо того, чтобы стыдить и упрекать, изложил свои взгляды на любовь.

– Что он говорил? – спросила я.

В темноте я стояла на коленях в кровати и ждала, но услышала только храп.

Сюй Ячэнь уже не мог глубоко погружаться в воспоминания, для него это было тяжелее, чем пробежать марафон. Ему нужна была лишь малая доза прошлого, чтобы приправить слишком пресную и благополучную жизнь. На самом деле ему нравилось даже не вспоминать, а возвращаться из прошлого в настоящее. К свету от хрустальной люстры в стиле барокко. К теплу из камина, купленного на аукционе “Сотбис”. К поцелуям Фортуны под пуховыми одеялами из египетского хлопка плотностью не менее ста восьмидесяти нитей.

Я понимала, что мне давно пора бросить его. Но не бросала. Не знаю, чего я ждала.

Может быть, ждала, когда Тан Хуэй все узнает. Той пятницей разразился кошмарный ливень. В самый разгар непогоды Тан Хуэй позвонил мне, но я не ответила. По новостям сообщали, что многие дороги оказались затоплены, и Тан Хуэй, всерьез разволновавшись, стал звонить моим сослуживцам.

Я вернулась домой около полуночи. Дождь немного успокоился. Окно в гостиной было открыто настежь, и на полу красовалась огромная лужа, в которой мокли обвисшие шторы. Тан Хуэй сидел на диване, подперев щеку ладонью. Потом обернулся и стал смотреть, как я снимаю туфли на каблуке.

– Посиделки с коллегами? – хрипло спросил он.

– Да.

Он мягко покачал головой:

– Нет.

– Что – нет? – спросила я, снимая сережки.

– Не было никаких посиделок.

Я подняла голову и посмотрела на него.

– Судя по всему, раз в неделю ты уходила на какую-то очень важную встречу, – сказал Тан Хуэй. – Хотелось бы послушать твои объяснения.

Он выжидающе смотрел на меня, словно уговаривая дополнить ту ложь чем-нибудь убедительным. Но я прикусила губу и молчала.

Он горько улыбнулся:

– Выходит, у нас и правда проблемы.

Дождь перестал. В комнату сочилась влажная прохлада. Мы с Тан Хуэем сидели на разных концах дивана.

– Он был папиным студентом. Я почувствовала между нами родство, невольно захотелось сблизиться...

– У твоего папы было столько студентов! С каждым по очереди будешь сближаться?!

Тан Хуэй вскочил и ушел, хлопнув дверью.

Я еще долго просидела, уставившись в одну точку, в постель легла не раньше трех. Но не спала, а плавала в такой тонкой дреме, что мне и присниться ничего не могло. Так что не знаю, сон это был или явь. Но я снова увидела матрешку, ее выкрашенное в алый цвет лицо. Матрешка со стуком перекатывалась по полу. Резкий женский голос повторял: “Открой ее, открой!”

Я проснулась и почувствовала на себе взгляд Тан Хуэя. Не знаю, когда он вернулся.

– Тан Хуэй, – тихо сказала я, – мне кажется, я многого не знаю о папе. Я хочу выяснить...

– Ли Цзяци, твой папа умер почти двадцать лет назад! – прокричал он.

Я спрыгнула с кровати и босиком прошла в гостиную за сигаретами. Лужа на полу сохранила прежнюю форму и напоминала труп. Я ненадолго остановилась перед зеркалом, впилась глазами в правый его край. Я знала, он там.

Когда вернулась в спальню, Тан Хуэй уже успокоился. Свет в настольной лампе был приглушен, и казалось, что в лицо Тан Хуэю плеснули вчерашней заварки. Вид у него был убитый. Я отвернулась от света и закурила.

– Что собираешься делать? – спросил Тан Хуэй.

– Найду людей, которые занимались бизнесом вместе с папой. Может быть, они знают...

– Милая, я спрашиваю о нас. Что нам делать? – Он смотрел мне в глаза. – Значит, ты не собираешься порвать с этим папиным студентом, так?

– Не знаю... Мне нравится в нем только часть, малая часть, но она связывает меня с папой...

Тан Хуэй притянул меня к себе, обхватил ладонями мое лицо:

– Давай оставим эти странные идеи.

Он говорил, что впереди нас ждет так много всего. Мы ни разу не ездили путешествовать. Этот Новый год можно отметить где-нибудь на острове в Таиланде, а следующим летом поехать в Париж... Через два года мы купим домик за городом, там будет маленький участок, на котором мы посадим мои любимые смоковницы, летом в их тени можно будет жарить мясо, мы заведем лабрадора... Он усердно чертил перспективы нашей будущей жизни, но видел только мое растерянное лицо. Опустошенный, Тан Хуэй откинулся на спинку кровати.

– Я всегда знал, что главный наш враг – твой папа.

Через два дня я уехала из квартиры, источавшей легкий аромат свежей краски. Было пасмурное утро. Заспанный Сюй Ячэнь открыл дверь и увидел за порогом меня с чемоданом за спиной. По его лицу скользнуло удивление, но он тут же раскинул руки и крепко меня обнял. Я хотела пожить некоторое время с Сюй Ячэнем, просто чтобы исчерпать ту привязанность, которая у меня к нему оставалась.

Сюй Ячэнь дал мне ключи от дома, познакомил с шофером и домработницей. Домработница, Сяо Хуэй, служила у него много лет и выглядела уже совершенно по-городскому. Она вежливо улыбнулась мне и незаметно меня оглядела, словно вычисляя, сколько продержится в доме очередная хозяйка. Скоро она поняла, что я немного отличаюсь от своих предшественниц. Вместо того чтобы оккупировать каждую полочку в ванной, тюбики с лосьонами для кожи по-прежнему хранились у меня в косметичке, одежда не перекочевала в шкаф, а лежала стопкой в углу, Сяо Хуэй едва ли услышала от меня хоть одно замечание по хозяйству, я ни разу не заставила ее что-нибудь переделать. И за все время не завела в доме ни единого нового правила.

Проснувшись, сначала я какое-то время вспоминала, где нахожусь. Иногда бродила по просторным комнатам, размышляя, что это и есть та самая роскошная жизнь, о которой я мечтала в детстве. Но ее наступление казалось таким ненастоящим, эта жизнь держалась на следах старой дружбы и напоминала наследство, доставшееся мне от папы. И даже будучи наследницей, я все равно не чувствовала себя ее полноправной хозяйкой. Между нами всегда оставалась какая-то пленка, мешавшая нырнуть в нее с головой.

Я приступила к поиску людей, которые занимались бизнесом вместе с папой. Сюй Ячэнь меня очень выручил, нашел несколько человек через своих знакомых. С каждым из них я созвонилась и встретилась, взяла у них контакты других людей, знавших папу. Дни проходили как в тумане, работать совершенно не хотелось. Однажды я не пришла на интервью, о котором сама же договорилась; знаменитость, которой я назначила встречу, рвала и метала от злости, ее агент звонил нам в редакцию и страшно ругался. Чтобы замять конфликт, главный редактор попросил меня уволиться. Я не стала устраиваться на новую работу, решила, что пока займусь поисками папиных знакомых.

Сюй Ячэнь почти каждый вечер проводил на приемах и банкетах, а если банкетов не было, ужинал с друзьями. Он был любитель веселых сборищ и нуждался в большой компании. А собрать такую компанию для него не составляло труда. Вокруг каждого богача вертится уйма людей, готовых по первому зову явиться, чтобы пить с ним, говорить с ним, сидеть с ним до самого рассвета, умирая от скуки. На его пирушки и так приходили целые толпы, но Сюй Ячэнь обязательно звал туда и меня.

– Моя сестренка, дочка учителя, – говорил он друзьям, словно родство с учителем – самая оригинальная черта его новой девушки.

– Классическая история любви, – заметил один из друзей.

– Братец Ячэнь не забывает старую дружбу, – сказал другой. Все дружно закивали.

Алкоголь наделен волшебной силой, с ним все слова звучат искренне, а скучные минуты начинают ярко переливаться. Кажется, ничего больше нет и не будет, кроме этой ночи. Все сказанные слова трогают за душу, каждое должно запомниться навсегда. Увесистое ощущение значимости собственного существования вселяет в человека силы и прогоняет усталость. От захмелевшего Сюй Ячэня веяло распадом, он широко улыбался и раскачивал головой, точь-в-точь как папа. Возможно, это была всего лишь моя пьяная галлюцинация, но чтобы видеть ее чаще, я стала много пить. Кажется, этот ген давно прятался в моей крови, а теперь его внезапно разбудили, и после каждого ужина с Сюй Ячэнем я возвращалась домой навеселе.

Особенно мне нравилась дорога домой, когда остатки веселья с шипением догорали в ночном воздухе.

Мы с Сюй Ячэнем ехали на заднем сиденье машины и, сплетясь руками, яростно и беззвучно целовались. В замкнутом тесном пространстве витал запах табу, и мы вкушали радость тайной любви, поглядывая на молчаливый затылок шофера. Алкоголь превращал наши языки в пару змей. Машина проезжала по широкому проспекту Чанъань, каждый фонарь которого украшало двенадцать лампочек-магнолий. И лампочки эти были глазами, и все они смотрели на нас.

Правда, я всегда держала себя в руках и не напивалась до полного беспамятства. Я не знала, какой стану, если вконец опьянею, а интуиция подсказывала, что лучше не пробовать. Но все запреты в мире существуют, чтобы у человека был соблазн их нарушить. И я наконец напилась, торжественно напилась до полного беспамятства, и это случилось на встрече выпускников, которую устроил Сюй Ячэнь.

Мое появление пробудило в нем ностальгию по университетским годам, и он решил устроить встречу однокурсников. Конечно же, я очень ее ждала, туда должно было прийти столько папиных студентов. Сюй Ячэнь собирался представить меня не сразу, а дожидаться, пока все немного захмелеют, и тогда уже взять меня за руку, вывести на сцену и объявить залу, что я – дочка учителя. Но я успела напиться еще раньше. Не дожидаясь, пока он возьмет меня за руку, я выскочила на сцену и отобрала микрофон у выступающего.

Никто меня не спаивал, я набралась сама. Мне просто хотелось скорее спрятаться в алкоголе, изолировать себя от остальных. Потому что настроение, царившее тем вечером в зале, оказалось совсем не таким, как я ждала. Люди жаловались на цены на недвижимость, делились друг с другом вариантами инвестиций, сравнивали страны, подходящие для эмиграции.

Несколько женщин собрались в кружок и обсуждали воспитание детей и достижения современной косметологии. К Сюй Ячэню все время подходили какие-то люди, пили с ним, обнимали, говорили лстивыми голосами. А он улыбался и с наслаждением слушал. Это была самая обычная пирушка, ничем не отличавшаяся от тех, что он закатывал каждый вечер. Никто не вспоминал о прошлом, никто не заговаривал о моем папе. Никто. Я вливала в себя бокал за бокалом, слушала, как люди вокруг превозносят успехи Сюй Ячэня. Но все равно, клянусь, я не собиралась лезть на сцену. Помню, что мне стало жарко и захотелось выйти на улицу подышать. Почти добравшись до двери, я поняла, что перебрала с алкоголем, что пора уезжать, развернулась и пошла обратно за сумкой. Когда я проходила мимо сцены, кто-то взял слово: давайте поблагодарим Ячэня, что он снова собрал нас вместе, желаю процветания его бизнесу, чтобы мы могли встречаться каждый год, а следующую встречу предлагаю провести на Санья... Лицо у человека перекосилось, а может быть, пол в зале накренился, но все стало как-то неправильно, нужно было это остановить. Я поднялась на сцену и вырвала у него микрофон. На этом мои воспоминания обрываются, я совсем не помню, что говорила. И разумеется, не помню, в котором часу встреча закончилась и как я оттуда уехала. Проснувшись, я обнаружила себя в гостевой спальне в доме Сюй Ячэня. Шторы были открыты, еще не рассвело, темнота мастичной пломбой запечатывала окно. Я зашла в комнату Сюй Ячэня, села на край кровати. Он лежал ко мне спиной, но я знала, что он не спит.

– Я перебрала с алкоголем. – Проговорив это, я немного подумала и добавила: – Извини.

Он повернулся на спину, уставился в потолок.

– Довольно же ты со мной натерпелась.

– Я выпила лишнего и, наверное, сказала что-то не то...

– Это уже ни в какие ворота! – проревел он. – На глазах у целой толпы сказала, что я – вульгарный мещанин, типичный нувориш, пустая бездушная оболочка...

– Я так сказала?

– Какая невоспитанность! Тебя родители элементарной вежливости не научили? Конечно, не научили, я и забыл – твой папа слишком рано умер. – Сюй Ячэнь обернулся и взглянул на меня: – Если б он видел, как ты себя ведешь, головы бы не смог поднять от стыда. Ты его опозорила. Говорила, что на самом деле у меня нет ничего за душой. Надо же! Это у тебя ничего нет. Не обижайся, но я приютил тебя просто из жалости.

Я взглянула на него:

– Вроде благотворительности, которой ты занимаешься?

– Да, как помощь детям из горных районов. Вот только я ни разу не видел, чтобы дети из горных районов были такими наглыми и неблагодарными.

В темноте мы пристально смотрели друг на друга. Наконец он устало закрыл глаза и жалобно проговорил:

– Завтра тебе надо уехать.

Я проспала почти до обеда. Почему-то перед уходом я смогла отлично выспаться, не видела ни единого сна. Проснувшись, собрала чемодан, потом поднялась на второй этаж, открыла ключом комнату, где хранилась коллекция, подошла к той замотанной в пленку скульптуре, вытащила из кармана канцелярский нож и стала резать скреплявший пленку скотч. Хлопнула дверь, в комнату вошла Сяо Хуэй.

– Так и знала, что ты здесь! – провизжала она. – Попалась!

– Что?

– Сама знаешь. Решила прихватить себе что-нибудь перед уходом...

Я посмотрела на нее и снова взялась за скотч.

– Ты что надумала? – крикнула Сяо Хуэй.

Я разрежала скотч, и пленка упала на пол. Скульптура открылась сумраку комнаты. Девочка по-прежнему тянулась вперед, подняв голову и закрыв глаза, на ее лице играла заво-

роженная улыбка, словно она впервые вдыхает запах этого нового места. Я выронила нож и вышла из комнаты.

Чэн Гун

Я умею долго не пьянеть, но, в общем, это неважно; начав пить, всегда хочется переступить границу умеренности и дойти до настоящего опьянения. Это как табу, существующее для того, чтобы его нарушали. Бесконечная радость и бесконечная печаль, которые приходят с опьянением, бесценны, и при случае я хотел бы пережить их вместе с тобой.

Мы немного выпили, теперь наконец можно начать рассказ о дедушке. С возрастом те события все дальше и все меньше хочется о них говорить. Как будто память выделила для них отдельный остров, что виден издалека, но доступ к нему отрезан. Если хочешь туда попасть, придется с головой нырнуть в холодную воду, задержать дыхание и плыть.

Только в шестилетнем возрасте я узнал, что на свете есть еще и дедушка. Однажды тетя взяла меня с собой на работу в больницу при университете. Когда мы подошли к главному входу, она спросила, помню ли я эти места, и добавила, что когда-то я здесь родился. Подумав, я покачал головой и виновато ответил, что совсем не помню, как родился. Тетя расхохоталась и сказала, что я и потом здесь бывал, навещал дедушку. Оказалось, он живет в больнице, тетя показала мне одно из окон на третьем этаже стационара и спросила, помню ли я дедушку. Дедушку я не помнил, но мне стало очень любопытно, и я упросил тетю отвести меня к нему.

Мы поднялись на третий этаж. Прошли по длинному коридору, двери в палаты были распахнуты, в одной я увидел человека с гипсовой ногой, задранной к потолку, а рядом тощего мужчину, голова его была густо обмотана бинтами, из-за которых он походил на огромную ватную палочку. В палатах лежало по четыре, иногда по шесть больных, и в каждой обязательно голосил какой-нибудь ребенок и охал старик. И еще кто-нибудь из родственников во все горло бранился с медсестрой.

Дедушкина палата была в конце коридора, поодаль от остальных. На притолоке – темно-красные цифры: “317”. Цифры были намалеваны от руки и казались меньше номеров на других палатах – ясно, что они появились здесь позже. Потом я узнал, что сначала в той комнате размещалась сестринская, но из-за дедушки ее пришлось переделать в больничную палату.

За закрытой дверью царил удивительная тишина. Тетя завела меня внутрь. Места в палате было мало, но она все равно казалась пустой, потому что там стояла всего одна кровать. Лежавший на ней человек и был моим дедушкой. Я подошел и внимательно оглядел его: белое плоское лицо лепешкой, на нем блестят маленькие глазки-изюминки. Зрачки иногда перекачиваются, но взгляд не отрывается от потолка, скользит из одного угла в другой. За все время дедушка ни разу не посмотрел на нас с тетей.

– Дедушка, – из вежливости позвал я. Пропустив это слово между языком и небом, я ощутил, какое оно легкое – засохший бобовый стручок, полый внутри.

В прошлый раз я звал дедушку, едва научившись говорить. Тетя сказала, что они брали меня в больницу, когда я был совсем маленьким, мама подвела меня к кровати, указала на лежавшего там человека и сказала: это дедушка. Я радостно залопотал: “Де-душ-ка!” – словно мне в руки попала новая игрушка. “Замолчи! – оборвал меня папа. – Он все равно не слышит, зови не зови!” Я поднял глаза на папу, перевел их на человека в кровати и послушно закрыл рот.

Тетя сказала, что дедушка превратился в растение.

– Такие люди не могут ни говорить, ни двигаться, все время остаются в одном и том же положении. – Тетя указала на подоконник, где стоял горшок с умирающей орхидеей. – Вот как этот цветок.

На другой день я тайком прибежал в больницу, взял кувшин с водой, залез к дедушке на кровать и полил его с ног до головы. А потом встал у кровати и не сводил с него глаз – мне не

терпелось узнать, какие на дедушке распустятся цветы. Кончилось тем, что пришла медсестра и, лопааясь от злости, сменила дедушке промокшие простыни.

Потом она засунула ему в рот длинную трубку, по которой текла темно-коричневая жидкость. Я стоял в сторонке, хлопая глазами, – оказывается, вот как дедушка всасывает питательные вещества.

Теперь я почти каждый день навещал дедушку в больнице. Я стоял у кровати и глядел на него, а он на меня. Я моргал, он тоже моргал. Как-то раз я подмигнул дедушке левым глазом, ждал, что он подмигнет в ответ, но дедушка просто моргнул. Тогда я подмигнул правым глазом, но на этот раз он уставился на меня, вообще не мигая. Я снова и снова показывал дедушке, как надо подмигивать, но он так и не смог повторить. Ровно в три часа дня в палату приходила медсестра, дедушку требовалось кормить всего раз в сутки. Медсестра прогоняла меня и закрывала дверь на щеколду. Потом я понял: она не хотела, чтобы я смотрел, как дедушке опорожняют кишечник. Но как дедушка ходит в туалет? Я все детство бился над этой загадкой.

Для меня дедушка был чем-то вроде растения, оставшегося на попечении у чужих людей, и я считал своим долгом регулярно его навещать. Еще я надеялся, что смогу обучить дедушку разным командам, чтобы он моргал, поднимал брови или улыбался. После двух недель дрессировки мы совершенно не сдвинулись с места, и я эту идею забросил.

А потом вся моя любовь переключилась на ежа. Как-то раз я пошел за пампушками для бабушки и по дороге встретил ежа. Я подкрался на цыпочках и накрыл его матерчатым мешком для пампушек, схватил мешок в руки и понесся домой. Бабушка не разрешила держать ежа в квартире, пришлось устроить ему домик на заднем дворе. Я нашел треснутый чан, в котором раньше солили овощи, посадил туда ежа, а сверху положил кусок шифера. Каждый день я носил ему помидорные шкурки и стебли от огурцов, надевал перчатки и бережно его гладил. С появлением ежа я на время позабыл о дедушке. Но однажды в воскресенье тетя повела меня в гости к какой-то своей подруге с работы, по дороге разразился ливень, и я сразу вспомнил о еже. Когда прибежал домой, дождевая вода переливалась через края чана, а внутри со вздувшимся брюхом плавал мой еж, и иголки его размякли.

Много дней я горевал по ежу, а оправившись, снова вспомнил о дедушке. Оказалось, ни бабушка, ни тетя не навещают его в больнице и дома о нем не говорят. Они как будто начисто забыли о его существовании. Наверное, горше всего растениям от того, что о них вечно забывают. А если и медсестры забудут о дедушке? От этой мысли мне стало не по себе, я почувствовал угрызения совести. Вдруг он взял и тихонько умер? После гибели ежа я стал понимать, что жизнь не бесконечна. Однажды я наконец не вытерпел и поделился своей тревогой с бабушкой и тетей.

– Пусть умирает. Все равно больше ничего он сделать не в состоянии, – закатила глаза бабушка.

– Медсестры всегда рядом, они не забудут его покормить, – сказала тетя.

Потом тетя все-таки поддалась на мои уговоры и разрешила, чтобы я каждый день после обеда приходил к ней в больницу. Бабушке я пообещал, что со всеми ее поручениями буду управляться с утра. Так ко мне вернулась старая привычка навещать дедушку. Если я пропадал из виду, тетя знала, что искать надо в триста семнадцатой палате.

– А ты почтительный ребенок. Обо мне потом будешь так же заботиться? – спросила однажды тетя.

Я подумал немного и кивнул.

Она принесла в палату старое шерстяное одеяло и постелила его на полу. Теперь у меня появилось место для дневного сна. В палате было всего одно узенькое оконце, с наступлением лета его густо оплетал девичий виноград, поэтому внутри всегда стоял полумрак. Из-за постоянной сырости штукатурка отслаивалась, и ее лохмотья походили на огромных мотыльков,

приникших к посиневшим от холода стенам. Железная кровать тоже линяла, белая краска на ней трескалась и лупилась.

Долгие часы я просиживал на одеяле под окном, возился с набором полинявших кубиков, единственной игрушкой, которую мне купили, раскрашивал фломастерами черно-белые комиксы на сюжет “Путешествия на Запад”³⁰, выщипывал катышки из одеяла, наблюдал за муравьями, спешившими вдоль стены с хлебными крошками над головой. Выпрашивал у тети кусок марли, раскрашивал его красным карандашом и повязывал на голову, чтобы напугать медсестру, когда она придет кормить дедушку. А если было совсем нечем заняться, я ложился животом на подоконник и считал черные головы, проплывающие через ворота больницы. Потом начинал клевать носом, перебирался на одеяло и засыпал.

На том красном одеяле из скатавшейся шерсти, пропитанном потом, слюной и мочой, я видел много необыкновенных снов. Чтобы войти в эти сны, нужно было стать очень тонким, тоньше карандаша. А потом ползти вперед по длинной узкой трубке, гибкой и эластичной, как тот резиновый зонд, через который сестра кормила дедушку питательным раствором. Трубка туго оборачивалась вокруг моего тела, и я понемногу продвигался вперед, отталкиваясь от стенок. Оказавшись на том конце, я чувствовал себя так, будто заново родился, и ни за что не хотел возвращаться назад.

В тех снах я попадал всегда в одно и то же место, где наяву никогда не бывал. Широкие поля, ветхие низенькие домишки, а дороги только грунтовые. Вокруг меня целая толпа людей, солнце стоит высоко и так палит, что кожа становится фиолетовой, блестит и лоснится. Один человек забрался повыше и неразборчиво кричит в громкоговоритель, а я со всеми вместе скандирую что-то в ответ. Потом люди расходятся и дружно берутся за работу.

Я своими глазами видел, как на поле вырос гигантский пшеничный колос, он тянулся ввысь, пока не проколол облака. А еще видел, как люди разбили на куски медные замки и пилы, побросали их в большой котел и стали варить, а потом эти обломки расплавились, загустели и превратились в кусок серебристой стали. Я тоже хотел вырастить такой колос, а потом залезть по нему на небо.

Но во сне у меня нашлось занятие поважнее. Там я учусь стрелять из ружья, а учит меня дедушка. Правда, он совсем не похож на дедушку с больничной кровати. Он молодой – наверное, папин ровесник, загорелый дочерна, очень худой, с блестящими глазами. Походка у него бравая, все шаги как будто измерены. Я стою, зажатый в толпе, и слушаю человека с громкоговорителем. Но вот появляется дедушка, берет меня за руку и уводит. Хоть он и не похож на дедушку из больницы, я все равно его узнаю. Мне никто не подсказывал, я просто знаю, что это он, и, чтобы не запутаться, про себя называю его дедушкой из сна. Дедушка из сна молчаливый, никогда со мной не заговаривает. Просто ведет к краю поля и бросает мне ружье, чтобы я стрелял в чучело, охраняющее посевы. Наверное, он думает, что меня не надо учить, что я умею это с рождения. Но скоро выясняется, что я даже не знаю, с какой стороны подойти к этому ружью. Тогда он учит меня держать оружие. Много снов подряд я оказываюсь посреди летнего поля и стою под солнечными лучами, сжимая в руках ружье. Солнце так палит, что я не могу открыть глаза, кажется, волосы горят на голове и я вот-вот упаду в обморок. Так проходит больше десяти дней, наконец я научился крепко держать ружье. Еще как научился – оно лежит в моих руках совершенно неподвижно. Тогда дедушка показывает, как правильно стрелять. Опускает плечи, плавно вскидывает ружье, целится и нажимает на спусковой крючок. Пуля со свистом вылетает из дула и попадает ровно в середину головы того соломенного чучела. Еще один выстрел, теперь в сердце. Дедушкины пули бьют без промаха, движения у него сноровистые и ловкие. Зажав уши, я зачарованно смотрю, как он стреляет. Но потом при-

³⁰ “Путешествие на Запад” – один из классических китайских романов, повествует о путешествии монаха Сюаньцзана и его волшебных спутников в Индию за священными книгами.

ходит моя очередь, а я еще немного боюсь звука выстрела, и руки дрожат. Дедушка все равно заставляет меня тренироваться, и даже кровавые мозоли на ладонях не повод отдохнуть.

Когда я все же смог попасть в чучело, дедушка ведет меня стрелять диких уток. В этом деле главное – терпение. Он по-прежнему не объясняет ничего словами, только показывает. Мы лежим в густой траве на берегу пруда, дедушка не мигая смотрит перед собой, дыхание у него медленное и ровное. Вот ему на щеку сел комар, насосался крови и улетел. Потом в моих воспоминаниях эти кадры станут черно-белыми, как старый немой фильм. Я начинаю клевать носом, веки у меня тяжелеют, и вдруг раздается грохот выстрела. Тяжелая мощная птица описывает в небе алую дугу и падает в заросли, расплескивая вокруг белые перья. Я восхищенно хлопаю в ладоши, вскакиваю и со всех ног бегу за птицей. Но когда приходит моя очередь стрелять, я понимаю, до чего же это трудно. Никак не могу успокоить дыхание, от волнения все время хочется пошевелиться, в конце концов я дергаюсь и пугаю птицу. Дедушка очень сердится и отвечает мне затрещину. Я тру горящую щеку, падаю ничком и снова начинаю целиться. Во сне я как будто не знаю, что такое обида и злость, я хочу одного – научиться как следует стрелять из ружья, а больше ни о чем не думаю. Погружаясь в бесконечные однообразные тренировки, я чувствую себя сильнее и верю, что когда-нибудь стану настоящим мужчиной.

Из-за сосредоточенных тренировок у меня уходит все больше времени на дневной сон. Часто я просыпался только в три часа дня, когда медсестра стаскивала меня с одеяла, чтобы покормить дедушку.

– Зачем опять окно закрыл? – спрашивала медсестра. – Сколько раз тебе говорить, если не проветривать, появятся пролежни!

Сжав губы, я молча хлопал глазами. Я не закрывал окно, ни разу. Это было настоящее чудо. Но по сравнению с чудесами, творившимися у меня во сне, оно казалось ерундой. После ухода медсестры мне хотелось вернуться обратно в сон, я долго лежал на одеяле, но заснуть никак не получалось. Приходилось тренироваться самому, я вставал у окна и целился в голубей пальцами. Бах-бах-бах, бормотал я голубям. Ага, вот вы и убиты.

После смены тетя заходила за мной в палату, и мы шли домой. Как-то раз она спросила, во что я сегодня играл. Я очень хотел рассказать ей свой сон, меня так и подмывало похвастаться, что я научился стрелять. Но, подумав, я все-таки промолчал. Пусть дедушка из сна не запрещал мне рассказывать о тренировках, я все равно чувствовал, что это должен быть наш с ним секрет. А за ужином бабушка и тетя заметили, что я умудрился нагулять себе удивительный аппетит.

Наступил последний день летних каникул, а я так и не подбил ни одной птицы. Дедушка из сна страшно рассердился, снова хотел меня ударить, но я сказал, что завтра начинаются занятия в школе и я больше не смогу к нему приходить. Дедушку это очень огорчило, он отошел к меже и молча закурил. Мне тоже было немного грустно, ведь у дедушки из сна не было других родственников и после моего ухода он останется совсем один. В утешение я пообещал, что буду приходить по выходным. Это дедушку не смягчило, он так и стоял, отвернувшись, тогда я взял его за руку и подцепил дедушкин мизинец своим³¹.

С сентября я пошел в начальную школу. Одинокие дни закончились, у меня наконец-то появилась компания. Но очень скоро я понял, что школа не для меня. Уроки тянулись слишком долго, а когда учитель отворачивался написать что-нибудь на доске, в классе становилось так тихо, что мне хотелось заорать. После обеда, на уроке физкультуры, все выстраивались под бледным небом и вяло повторяли движения из радиогимнастики. Я очень скучал по знойному солнцу и по дедушке из сна.

³¹ Скращенные мизинцы – детский жест, означающий клятву или обещание.

Кое-как дождавшись выходных, я прибежал в больницу и радостно толкнул дверь в палату. На моем одеяле, скрестив ноги, сидел какой-то мужчина и копался в судке с едой. Это был папа. Когда дверь распахнулась, он резко вскочил на ноги, потом увидел меня, и к его лицу прилила кровь.

– Вот гаденыш, здорово меня напугал! – Папа подошел и отвесил мне два крепких подзатыльника. – А ты почтительный сын, услышал, что папка здесь, так мигом прибежал повидаться.

Я растянул рот в улыбке.

Папа влез в долги с большими процентами. Скрываясь от коллекторов, он должен был через каждые пару дней менять укрытие. Когда сил прятаться почти не осталось, его вдруг осенило. Дедушкина палата! Коллекторы ни за что не подумают искать его там, и от дома недалеко – тетя сможет носить еду.

– В трудную минуту старикан подал мне знак. – Папа ткнул пальцем в дедушку. – Все-таки с отцом лучше, чем без отца.

Я сморгнул. Мне-то так не казалось.

На моей памяти папа постоянно прятался от коллекторов, как будто это и было его настоящей работой. Года в три я своими глазами увидел, как страшны бывают коллекторы. Двое здоровенных мужиков вломились в нашу квартиру, обыскали каждый закуток, но не нашли ни папы, ни чего-нибудь ценного. Тогда один из них схватил стул и грохнул им по телевизору. Там как раз шел мультфильм “Приключения крота”, экран резко погас, а посередине образовалась большая дыра. Коллекторы убрались, громыхнув дверь, в квартире снова стало тихо. Я долго не сводил глаз с черной дыры на экране, но крот оттуда так и не вылез.

Папа оккупировал триста семнадцатую палату. Принес из дома радиоприемник и не выключал его с утра до вечера, лежал на подстилке, слушал сказы пиншу³² или матчи по радио. Если от скуки становилось невмоготу, дожидался темноты и шел на улицу, там прибивался к какой-нибудь компании с мацзяном, играл с ними несколько партий. Правила больницы запрещали родственникам пациентов оставаться на ночь, медсестра пыталась выгнать папу, но он напускал на себя грозный вид и притворялся, что ничего не слышит. Потом она навела справки о нашей семье и больше папу не трогала, а на его ночевки в палате смотрела сквозь пальцы.

Каждый вечер я должен был носить папе еду. Он вырывал у меня из рук судок, садился на подстилку у стены и с чавканьем ел. Я стоял в стороне, ждал, пока он закончит, потом выкидывал объедки, закрывал испачканный жиром судок и совал его обратно в авоську. Папа ел быстро, управлялся с ужином минут за десять, но мне это время казалось вечностью. Я не мог оторвать глаз от шерстяного одеяла, на котором он сидел. Волшебное одеяло, показавшее мне столько удивительных снов, теперь было забрызгано каплями супа и жира, а с краю на нем появилась дыра от сигареты. Погибло мое одеяло.

Должно быть, дедушка из сна сейчас расхаживает по меже, беспокойно курит. А мое ружье валяется рядом, уже и заржавело, наверное.

Я стал ненавидеть походы в больницу. Однажды, относя папе еду, я так размахнулся авоськой, что она порвалась, судок выпал, и пирожки баоцзы покатались по больничному коридору. Пол недавно помыли с антисептиком, он еще блестел от воды. Я поднял пирожок, понюхал – от него слабо пахло какой-то химией. Я сложил баоцзы обратно в судок. Ночью мне приснилось, как папа съел те пирожки, а потом у него изо рта, носа, глаз и ушей хлынула кровь и скоро он умер. А я стоял рядом и спокойно раздумывал, куда лучше спрятать труп.

К зиме папа наконец вернул долг. Но деньги он получил вымогательством у хозяина какого-то ресторанчика, потом тот человек написал на него заявление в полицию, и папе дали шесть лет. Папа был частым гостем полицейского участка, и мы знали, что рано или поздно

³² Пиншу – китайский традиционный прозаический сказ, исполнявшийся профессиональными сказителями.

его по-настоящему посадят. Теперь он наконец оказался за решеткой, и мы вздохнули с облегчением: большая удача, что сел не за убийство или поджог.

В самый холодный день зимы мы с бабушкой и тетей поехали в пригородную тюрьму на свидание с папой. В небе кружили снежинки, мы везли с собой два темно-синих свитера, которые тетя связала ему английской резинкой. Папа был чисто выбрит, и я впервые видел его с такой короткой стрижкой, если он опускал голову, под волосами проглядывала синеватая кожа, а еще шрам в цунь³³ длиной. Выглядел папа бодрым и на удивление спокойным. Бабушка проявила небывалую доброту, велела папе не тревожиться: Чэн Гун поживет у меня, все расходы я подсчитаю, как выйдешь, сразу мне и отдашь. Шесть лет мигом пролетят. Когда бабушка сказала про шесть лет, папа болезненно дернулся. Тетя поспешила добавить, что так долго ждать не придется, наверняка освободят досрочно. Яцзюань ко мне ни разу не приходила, мрачно сказал папа. Передайте ей, чтоб ждала. Яцзюань была той самой вдовой, как я слышал, красотой она не блистала, да и зубы росли торчком, не знаю, что он в ней нашел. Но папа очень любил эту Яцзюань и, освободившись из тюрьмы, поехал за ней в Ханчжоу. Она с подружкой открыла там фирму по производству одежды, у них была своя небольшая фабрика, и папа стал заведовать складами. Видимо, Яцзюань не любила папиных родственников и не разрешала ему с нами общаться, поэтому он ограничивался звонками и небольшими денежными переводами на Новый год. Папа так и не возместил бабушке расходы за мое содержание, ей это, конечно, не нравилось, зато теперь она вздохнула с облегчением и могла больше не тревожиться за его жизнь.

После папиного исчезновения в триста семнадцатую палату вернулась тишина. Теперь я снова мог навещать дедушку, но вместо этого увлекся шахматами сянци и каждый день бегал в небольшой хутун³⁴ неподалеку от Наньюаня наблюдать за игрой. Там был один старик, настоящий мастер сянци, в игре ему не было равных. Я пытался попасть к нему в милость, носил за ним складной стул, наливал чай. Втайне я мечтал, что однажды старик научит меня своему мастерству, как дедушка из сна. Но он не обращал на меня внимания, а если я что-то спрашивал, ответы цедил в час по чайной ложке, и все какие-то туманные истины, ни слова об игре в сянци. Но я все равно влюбился в его совершенномудрый облик и твердо решил стать учеником старика, ловил на лету каждое его слово, а дома усердно обдумывал все, что услышал. На выходных в хутуне народу собиралось еще больше, и, пообедав, я со всех ног бежал смотреть за игрой, позабыл и про дедушку, и про триста семнадцатую палату. Зимой игроки перебрались из хутуна в ближайший ресторанчик, дым там стоял коромыслом. Но вдруг старик пропал. Потом от кого-то из его знакомых я услышал, будто он заболел раком и лег в больницу. Спустя еще несколько дней мне сказали, что старик, должно быть, умер – его дочь видели с траурной повязкой на рукаве. Люди и дальше собирались в ресторанчике, чтобы поиграть в сянци, но играли они из рук вон плохо, сидели над доской, а ходить боялись, да еще просили совета у зрителей. Я плюнул и больше туда не ходил.

Зима почти миновала. Я наконец-то вспомнил о дедушке из сна. Наверняка он окончательно во мне разочаровался. Мне было стыдно снова являться ему на глаза, и я долго не заходил в триста семнадцатую палату. Но дедушка из сна и не думал сдаваться. Скоро я понял, что раз в несколько лет он находит способ “воскреснуть” и вернуться в мою жизнь.

Рассказ об очередном его воскрешении надо начать с моей школьной жизни. Наверное, впервые оказавшись в начальной школе Наньюаня, ты тоже удивилась ее убогости. Двухэтажное здание и рядок одноэтажных коробок – вот и вся школа. Дворик такой маленький, что даже не нашлось места для баскетбольной стойки, поэтому кольцо попросту прибили к стене, и оно кое-как исполняло роль единственного спортивного сооружения на всю школу. Ученики были

³³ Цунь – мера длины, около 3 см.

³⁴ Хутун – традиционный переулок с малоэтажной застройкой.

детьми работников медуниверситета, а педсостав формировался в основном из родственников сотрудников больницы. Взять, к примеру, учителя Ян, нашу классную руководительницу, – ее перевели в Наньюань вместе с мужем и за неимением более подходящей должности поставили работать учительницей младших классов. Многие учителя еще вчера жили в селе и плохо говорили на путунхуа³⁵, а мы читали тексты из учебника, подражая их выговору, и радовались, что выучили новый язык. Некоторые преподаватели устраивались в школу, потому что туда ходили их дети, такие ученики оказывались на особом положении, им позволялось больше других.

Школа была убогая, зато там у меня впервые появилась компания. Одинокая жизнь закончилась, я был счастлив, что теперь каждый день провожу среди одноклассников. Правда, они любили поважничать и не обращали на меня внимания, к тому же вечно поднимали шум по пустякам – увидят ящерицу на стене и визжат. Но я все равно мечтал им понравиться. Скоро я понял, что у меня это никак не выходит, что бы я ни делал. Родители моих одноклассников жили в Наньюане, а работали либо в университете, либо в больнице, поэтому всем было отлично известно, у кого какая семья. Конечно же, они слышали про моего папу. Семья одного мальчика раньше жила по соседству с бабушкой, и его отец когда-то одолжил денег моему. Потом папы и след простыл, а его отец побоялся требовать долг у моей бабушки и сделал вид, что забыл. Зато мальчик, встречая меня на переменах в коридоре, каждый раз орал, чтобы я вернул ему деньги. А маме одной девочки из класса крепко досталось от моей бабушки. Она работала в управлении капитального строительства при медуниверситете, а бабушка решила соорудить во дворе пристройку в полтора этажа высотой, которая загородила окна жильцов сверху, совершенно лишив их солнечного света. Мама моей одноклассницы от имени администрации университета пришла к бабушке и велела ей убрать пристройку, бабушка затаила злобу и с тех пор постоянно ей досаждала. Выливала помои в корзину ее велосипеда, бросала ей во двор бутылки из-под газировки, так что вся земля была усеяна битым стеклом. Мама той девочки целыми днями дрожала от страха, проплакала себе все глаза. Кончилось тем, что год спустя они переехали в другой дом, только тут моя бабушка уgomонилась. После уроков та девочка вставала в кружок с другими детьми, они тихо о чем-то шептались и резко замолкали, стоило мне подойти. Скоро все одноклассники стали меня обходить стороной. Если я заговаривал с ними, отвечали односложно и сразу исчезали. Даже учителя теперь смотрели на меня иначе, более заботливо, словно боялись, как бы я чего не натворил.

Я оказался в полной изоляции. На игровых занятиях сидел один, после школы в одиночестве шел домой. Во время весеннего выезда на природу дети собрались в круг и затеяли игру, а я стоял в стороне и ел булку. На общем снимке я оказался крайним в заднем ряду, а мой сосед повернулся ко мне спиной и отодвинулся как можно дальше. Я возненавидел школу, и если там намечалось какое-то коллективное мероприятие, врал тете, что у меня болит живот, и просил написать записку. Скоро тетя почуяла неладное и догадалась, в чем дело. Она рассказала мне несколько историй из своего детства, как ребята в школе объявили бойкот одной девочке из-за ее родителей. Тогда я впервые услышал имя Ван Лухань. Тетя сказала только, что папа той девочки оказался убийцей, а от нее отвернулась вся школа, никто больше не хотел с ней дружить. Тетя говорила: ты должен постараться влиться в коллектив, одиночкам приходится несладко; я много таких историй перевидала, с годами изгои чувствуют себя только ущербнее и потом всю жизнь не могут избавиться от этого клейма. Я сказал ей, что постараюсь, но делать ничего не стал.

А потом все изменилось благодаря школьному сочинению. Учительница задала нам написать рассказ о ком-нибудь из членов семьи. Мое сочинение оказалось лучшим, и она велела прочесть его перед классом.

³⁵ Путунхуа – официальный нормативный вариант китайского языка.

“Мой дедушка – живой труп”. Услышав такое начало, одноклассники разом подняли головы от тетрадок. В том сочинении я изобразил дедушку героем, во время Корейской войны он оказался на передовой, отчаянно бился с врагом, был ранен, защищая товарища, и превратился в растение. Фронтовые друзья его не бросили, увезли моего дедушку с поля боя и доставили домой. Когда я дочитал, в классе воцарилась тишина. После уроков две девочки из класса подошли ко мне и сказали: как ты хорошо написал. На самостоятельном занятии сосед по парте тронул меня за руку и спросил, из какого оружия враг подстрелил моего дедушку и превратил в растение.

– Из длиннющего ружья. – Я показал руками. – Пуля, которую достали у него из головы, сохранилась до сих пор, бабушка держит ее под замком в деревянной шкатулке и никого к ней не подпускает. Иначе я бы принес вам показать.

Мой сосед по парте едва не расплакался.

Следующие несколько дней после уроков ко мне подходил кто-нибудь из класса и просил еще раз рассказать историю о дедушке. Мне не нравилось повторять одно и то же, и я импровизировал, в каждом новом исполнении история немного менялась. Главные расхождения были в том, от чего дедушка превратился в растение. То в него стреляли из винтовки, то кололи штыком, то его давил грузовик противника, а было и такое, что враг столкнул дедушку со стены... В конце каждой версии этой истории злодеи разными невообразимыми способами снова и снова превращали дедушку в растение. Эти рассказы и самого меня очень трогали, я верил, что каждое слово в них – чистая правда, что так все и было.

Одним моросливым днем я повел несколько человек из класса в больницу на “экскурсию” к дедушке. Посторонним вход в палату был запрещен, но каждый вечер медсестры и охранники с первого этажа вместе уходили на ужин, мы воспользовались их отлучкой и пробежали в больницу. Чтобы сделать атмосферу более торжественной, я заранее купил партийное знамя и накрыл им дедушку. Одноклассники столпились вокруг больничной кровати с таким видом, будто посещают мавзолей вождя. Дедушка спокойно лежал под их пристальным взглядом, продолжая смотреть в потолок. По тому месту, в которое он уперся глазами, медленно проползла ящерица.

С тех пор одноклассники стали со мной дружить. Как будто история с дедушкой помогла им простить вину моих бабушки и папы. На переменках меня даже звали вместе погулять, а на уроках физкультуры бросали мне волейбольный мяч.

Но это славное время длилось недолго. Скоро мой обман раскрылся. Как-то утром я зашел в класс и ко мне с загадочной улыбкой подскочила одноклассница:

– Мой дедушка говорит, что твой дедушка не участвовал ни в какой Корейской войне... Его избили во время борьбы и критики во имя “культурной революции”, тогда он потерял сознание и превратился в растение...

– Врешь!

– Дедушка говорит, что его за дело критиковали...

– Ты все врешь! – Я зажал уши и выбежал из класса.

После уроков двое одноклассников догнали меня, заступили дорогу и стали кривляться, они растягивали глаза и высовывали языки, изображая живой труп.

– Мой дедушка – живой труп! – с серьезным видом говорили они, передразнивая мой голос. – Но он герой. Он отважно бил врага на Корейской войне... – На этих словах мальчики согнулись пополам от смеха.

С того дня “дедушка-растение” превратился для моих одноклассников в анекдот. Чтобы не вспоминать об этом происшествии, я долгое время обходил стороной стационарный корпус, когда заглядывал к тете на работу. И поклялся себе, что больше не ступлю на порог триста семнадцатой палаты. Я и в самом деле затаил обиду на дедушку. Он мог бы превратиться в растение, доблестно сражаясь на фронте. Но я не стал выяснять у тети, что же все-таки случи-

лось с дедушкой во время этой самой “великой культурной революции”. Неважно, все равно никакой он не герой. Я даже решил, что дедушка никчемный, наверняка он был слабак и ничегошеньки не умел, раз позволил людям превратить себя в такое нелепое существо.

Ли Цзяци

Ты говорил сейчас про отсчет судьбы, что в жизни каждого человека наступает время, когда судьба набрасывает на него узду. Наверное, у меня это случилось в восемь лет. Той осенью папа уехал из Цзинаня в Пекин. И с тех пор у меня больше не было семьи.

На самом деле папа ничего не смыслил в бизнесе, просто понадеялся на помощь двоюродного брата, с которым был едва знаком. Младшая сестра бабушки еще в молодости уехала в Пекин, там вышла замуж и родила детей. Этот двоюродный брат был ее старшим сыном, в нашем семействе он всегда выглядел чужеродно. Плохо учился, нигде не работал, только болтался целыми днями в компании таких же бездельников, а промышлял перекупкой. Для моего дедушки слова “перекупка” и “жульничество” были синонимами, поэтому нетрудно представить, какое потрясение ему принесла новость о том, что папа тоже занялся перекупкой. В глазах дедушки это было непростительным падением.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.